90
Г50

АНДРЕЙ ГИППИУС

ЗАПИСКИ ГЛАВНОУГОВАРИВАЮЩЕГО 293 ПЕХОТНОГО ИЖОРСКОГО ПОЛКА

19/30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

154884/16

№.....

БЕРЕГИТЕ КНИГУ!

Не перегибайте книгу
во время чтения
Не загибайте углов
Не делайте надписей на книге
Не смачивайте пальцев слюною,
перелистывая книгу
Завертывайте книгу в бумагу

Г 50

АНДРЕЙ ГИППИУС

891.71

ЗАПИСКИ
ГЛАВНОУГОВАРИВАЮЩЕГО
293 ПЕХОТНОГО ИЖОРСКОГО ПОЛКА

ПРЕДИСЛОВИЕ А. КАДИШЕВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 154884 г.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№ 154884/16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД 1930

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й ОБРАЗЦОВОЙ ТИП.
Гиза. Москва. 17, Валовая, 28.
Главлит № А-67073. Х-20.
Гиз № 39760. Зак. № 1283.
Тираж 5 000 экз. 8 п. л.

ПРЕДИСЛОВИЕ

„Записки главноуговаривающего 293-го пехотного Ижорского полка" — не художественное произведение, хотя в нем имеются отдельные яркие и сочные зарисовки из жизни фронта 1917 года. Описание ближнего боя в лабиринте окопов и ходов сообщений укрепленной полосы производит сильное впечатление. Наряду с этим в „Записках" много наивного, неестественного, не укладывающегося в мозгу и поэтому художественно надуманного, что кажется притянутым за волосы. Но не в отображении куска империалистической войны на русском фронте интерес и социальная значимость „Записок". Они раньше всего — яркий человеческий документ участника конца империалистической войны и разложения старой армии и, пожалуй, не только того времени. Документ искренний, оголенный своеобразной исповедью, рисующий буржуазного интеллигента, его мысли, поступки, действия, отношение к происходящим событиям, его мировоззрение.

В 1916 году Леванид, от имени которого ведутся „Записки", молодой прапорщик, рвется на фронт, охваченный „святой любовью к родине", к „защите отечества", „офицерской чести". Грянула Февральская революция, Леванид быстро перекрашивается. Его уже одолевают идеи о „защите революции", „долге гражданина", наряду со старыми о „защите отечества" и „офицерской чести". Порывистой активностью и темпераментной красной речью получает он доверие солдатской массы, входит в полковой и дивизионный солдатские комитеты, делается „главноуговаривающим", полка и активно помогает проводить наступление 18 июня. В этих же боях он получает ранение. С выздоровлением опять идет добровольцем в полк, борется за дисциплину, с дезертирством. После Октябрьской революции под предло-

гом отпуска дезертирует из армии и устраивается ночным сторожем в Архангельске.

Вот несложный, обычный для буржуазного интеллигента путь 17 года. Раньше они шли добровольцами в царскую армию, после записывались в ударники к Керенскому, затем одни пробирались на Дон, Кубань к Корнилову, Калединому, другие занимались саботажем на советской службе, участвовали в заговорах, восстаниях в тылу, а часть переоценила свои ценности и честно, добросовестно дралась в рядах Красной армии на трудовом советском фронте.

Что представляет собой Леванид? Это типичный буржуазный сынок, выброшенный революцией из русла обычной своей жизни и потерявший опору в своей социальной базе. Классово надломленный, он беспомощно барахтается в понимании и осознании своей жизни и своих поступков. Леванид основной причиной своих действий делает идеи: „Уж очень Леванид наш идеями задавался и ни на что попросту смотреть не хотел".

Но напрасно читатель будет сопоставлять концепцию Леванидовых идей с его поступками, будет искать им у автора обоснование, содержание и социальный смысл. Леванид их сам не понимает. Это какие-то абстрагированные фетишизированные идеи, которые подхлестывают, „пришпандоривают" (излюбленное выражение Леванида, настолько часто им повторяемое, что просто приедается) его на разные выступления и поступки. Эти „идеи", которые живут у Леванида какой-то особой самостоятельной жизнью, стали как бы неотъемлемой частью его психики. Все вертится вокруг этих идей, они всему причиной. „Либо Леваниду Леванидом с его идеями остаться, либо начать попросту жить, как все — безо всяких, значит это, идей. Ну и идеи, в Леваниде сидящие, это чувствуют, либо пан, либо пропал, и ни на минуту своего стягивания и пришпандоривания не останавливают". Это — лейтмотив „Записок".

Социальное содержание идей для Леванида несущественно, неважно. Идеи „воинского долга", „офицерской чести" и „защиты завоеваний революции", „родины" и многие другие, — смешаны в одну кучу. Да Леванид и сам не сознает, собственно, какие же идеи в том или ином случае (в самых разнообразных случаях!) „пришпандоривают" его на тот или иной поступок. И часто читатель встретит: идеи (вообще „идеи"!) его скрутили, настегивали,

напирали, пришпандоривали и т. д., и под воздействием этих „идей" Леванид делается активным, в них он видит смысл своей жизни. И наоборот, когда идеи (вообще „идеи"!) не „пришпандоривают" его, он — пассивен, безволен, апатичен, никчемен. И когда Леванид основную причину своих действий и поступков видит в этих абстрагированных „идеях", то в этом можно кроме действительного идейного убожества усмотреть еще и некоторый психопатологический момент, который может быть предметом особого разбора сведущих лиц. Нас же интересует социальный облик Леванида и классовая подоплека его действий и поступков, его миропонимания.

Иногда, в минуты одиночества и тяжелого психического и физического надлома, Леванид как будто бы начинает что-то видеть, понимать и отдавать себе отчет в своих действиях. Но это только на первый взгляд. По существу это — интеллигентская растерянность от сильного удара, он начинает копаться в себе, ищет там свое бытие, мучительно анализирует свои переживания, и на этом дело и кончается. К решительным четким выводам, действиям, он, понятно, не способен.

После ранения, когда Леванид почувствовал себя разбитым и сломленным, он в своих записках так описывает свое состояние:

„И отчетливо видит Леванид, как два пласта идей борются в его голове: одни привычные барские идеи, идеи офицера, барина и либерала: родина, отечество, честь мундира, погон, оружия, честь вообще, и рядом — лицемерное желание самому-то уцелеть при всех этих схватках, получив достаточное количество ярких побрякушек для украшения мундира, и в основе всего, на самом дне души, глубокое презрение к „серой скотинке", позволяющей гнать себя на убой. Она-то проигрывает во всех случаях.

И другой слой идей, другая душа:

— Признаю, что нет ничего более гнусного, чем то, чем жил и во что верил в последние месяцы. Какая гнусность гнать в бой этих темных людей, и в мирное время часто недоедающих и недосыпающих, и заставлять резать друг друга во имя красивых фраз, отлично при этом зная, что все материальные выгоды достанутся тебе и тебе подобным, а „серой скотинке" в лучшем случае крест повесят на грудь".

Леваниду становится вдруг ясно, что вся работа его

в полку есть работа хорошего механизма, которым управляли, которого „пришпандоривали“, как он стал говорить впоследствии, ряд привычных, навязанных ему воспитанием, идей, осмыслить которые, критически отнестись к которым он не умел.

Леванид понял, что если солдатская масса тянулась к нему все это время, то тянулась лишь как к лучшему из плохих, вернее, из никуда негодных.

Разве он понимал ее? Разве он жил подлинными интересами солдат?

Да ведь они для него были, и сейчас остаются, такой же тарабарщиной, как китайские кули, которых он видел в детстве на Дальнем Востоке.

Он чувствует, что ближе всего к своей природе, к самому себе, он был в последнюю ночь, когда с наганом в руках, изрыгая на солдат гнусную непечатную ругань, он сломал волю 1-го батальона, не желавшего итти в бой.

— Какой бы из меня гвардейский офицер мог бы быть,— со злой иронией думает Леванид.

В „Записках“ можно найти еще две-три таких ярких самобичующих характеристики, но из всей суммы поступков, действий, рассуждений Леванида совершенно очевидно, что они не решающие в миропонимании Леванида, что это только случайные наносные настроения, но не результат продуманности хода событий, их оценки, уяснения и политического осознания окружающей и создающейся обстановки. И стоит Леваниду появиться опять на людях, как вновь начинается пресловутое „пришпандоривание“ привычных офицерско-барских идей или вообще „идей“. Классовая природа Леванида, его воспитание сильнее случайных, под впечатлением тех или иных событий, мыслей.

Леванид—нервно впечатлительный человек, ищущий приключений, героизма, обстановки, где он мог бы выделяться, блистать. И большие события, в которых он непосредственно участвует, оставляют в нем некоторый след, и как мы увидим дальше, создают некоторую коллизию чувств, мыслей, но не надрывают основной характерный для Леванида облик. Уже после своего ранения, когда он заглянул в лицо войны, когда Леванид приехал в Москву лечиться, он „купил серую офицерскую тальму, нацепил две пары погон (это те, что поярче), прицепил золоченый кортик, руку на черной шелковой перевязи повесил, новые хромовые сапоги надел

и этаким героем 1812 года по Москве прогуливаться стал". Вот где, собственно, сущность Леванидовых идей, довольно-таки прозаичная, к которым еще надо прибавить безапелляционные, воспитанием всосанные в кровь понятия об „офицерской чести", „защите родины", „отечества" и т. д.

Буржуазия умеет воспитывать верных себе людей и не только из своего класса. Мы видим и сейчас, как в капиталистических странах буржуазия рядом мероприятий, сложной сетью учебы, прессы, религии, искусства пропаганды, всяких внешних форм и т. д. обрабатывает в свою пользу молодежь, готовя ее к будущей войне в своих интересах.

Леванид типичный продукт такой буржуазной обработки. Во имя „идей" и громких фраз о родине, отечестве, офицерской чести Леванид идет в бой, готов на всякие жертвы. Он пленник своих „идей", он не может их осмыслить, отнестись к ним критически, вскрыть их классовую сущность.

Ленин писал, что „люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов".

Но Леванид не только жертва навязанных ему воспитанием идей, каким его автор пытается показать. Если Леванид как буржуазный интеллигент неспособен критически осмыслить свои поступки, оценить их с точки зрения интереса тех или иных классов, то в Леваниде есть еще важный существенный момент. Как буржуазный сынок он чувствует, что нарастание событий все более выбивает из-под его ног почву всех тех привилегий, которыми пользовался его класс. Он, правда, не отдает себе в этом ясного отчета, не сознает этого. Упоение доставшейся ему легко властью в полку, рисовка перед людьми, авантюризм и чисто интеллигентское бунтарство взвинчивают его и создают в нем мнение, что и сейчас он господин положения. Леванид убежден, что он делает политику, что он центр событий, что он ими руководит.

„Чувствовал Леванид, что в эту минуту может он казнить, и миловать — это ли не власть? Чувствовал также, что теперь остальные делегаты лишь сопровождающие стали, он — признанным центром, вождем".

„Подойди Леванид к положению попросту без „идеев" — все и пошло бы, как по маслу". Полк не участвовал бы в наступлении, люди остались бы целы. Он не видит и не понимает, что он по существу игрушка в руках буржуазии, знающей цену Леванидам, прекрасно использовавшей его громкие трескучие фразы, доверие в массах для своих целей.

Развитие событий тяжело бьет Леванида. Пресловутые его „идеи", наталкиваясь на реальную действительность, разлетаются, как пепел. Он получает новые настроения. Новые события на него напирают, события незнакомые, события, в которых он разобраться не может, да и не пытается. Крепко въелось в кровь Леванида буржуазное воспитание, офицерско-барские привычки. Леванид живет нервной напряженной жизнью, но не знает, чего он собственно хочет, к чему стремится. Нет в нем перспектив, осознанных действий. То он рвется добровольцем на фронт, то жалеет, что не остался в тылу с любимой девушкой, то бесшабашной руганью и плеткой двигает части в бой, то доволен, что полк взбунтовался, и он сможет отдохнуть от вихря событий. Захваченный их водоворотом, не имея твердой установки, оторванный от своей социальной базы, он плавает без руля и без ветрил, поддаваясь минутным настроениям и окружающей обстановке. Но в основе всех его действий, его поступков мы видим все же неизменно активного буржуазного сынка, инстинктивно чувствующего, как у него ход событий вырывает власть и присвоенные ему привилегии.

Есть в записках и попытка показать перерастание Леванида, как автор пишет, из „поклонника „Речи" и почитателя Милюкова в сознательного сторонника социальной революции, как единственного реального способа прекращения „международных вооруженных конфликтов". Июньское наступление 17 года было для него, как он считает, первым ударом „по черепу". Но все последующие действия Леванида, его понимание, оценка и отношение к развернувшимся событиям показывают, что и это — поверхностный и неглубокий подход к осознанию того процесса, который происходит у Леванида, что по существу и это громкая фраза безо всякого действительного содержания. И Леванид в своих „Записках" рядом конкретных фактов это прекрасно иллюстрирует. Ярче всего говорит в нем чувство обиженного событиями патриота буржуазной России,

неудачи ее империалистических замыслов, чувство битого и побиваемого класса. В развертываемом в 17 году ходе событий он видит только две России — героев фронта и тыловую Россию дельцов и шкурников. Есть еще рядом „другой тыл", тыл трудящихся солдат и матросов, рабочих и крестьян. Но у Леванида не было с этим тылом никакой связи. Он чувствовал определенно, что эти классы населения идут куда-то „левее интеллигенции". А это „левее интеллигенции" у автора — эсеры!

Понимание большевизма и большевизации народных масс у Леванида довольно оригинальное, политически неграмотное: „процесс отхода от интеллигенции, рост недоверия к образованным людям, большевизация, сиречь, здорово вперед продвинулись". Большевистские газеты казались Леваниду наивными до нелепости. Чему он сочувствовал в высшей степени большевикам это — ненависти последних к попам и религии, которая его не удовлетворяла. „Но их травля всех его близких, классовая противоположность останавливает его". Леванид живет в Москве в обстановке активной бешеной ненависти окружающей его среды к большевикам, уже ставшим у власти. В доме — станция Каледина, переправлявшая на юг ряженых под солдат офицеров; они его зовут на свою сторону. Но он к белым не примыкает: „успех белых ему несимпатичен, да он и не верит в их успех". Но он не тянется и в другой лагерь. Любопытно, что и пресловутое „пришпандоривание" идей перестало его скручивать, настегивать. Потому ли, что он понял, осознал действительную сущность этих „идей" или уже не было места, условий для их применений? Мы наблюдаем последнее. Леванид надломлен, разбит событиями, в нем нет и былой энергии, активности, он ищет отдыха от людей, от „сумбура, творящегося вокруг и в нем самом". В горячих спорах с родными он нервно реагирует: „Не видите разве, что и сам я ничего не понимаю, что и сам я устал и хочу отдохнуть".

Характерно, что он пробовал самоопределиться направо много раз и, как он пишет, из этого ничего не выходило. Почему? На это автор дает ответ, что, заглянув в лицо войны, он, как и молодые интеллигенты Запада, потерял вкус к либеральной болтовне о правах человека, о свободе, равенстве и братстве. „У Леванида, как у всех у них, появился интерес к конкретным способам прекращения на-

личных социальных и экономических безобразий". О каких „молодых интеллигентах Запада", с которыми он себя сравнивает, идет речь — неизвестно. Но далеко нетрудно в этой общей схоластической бесклассовой постановке вопроса, в этом интересе усмотреть, что это следует отнести (или во всяком случае находится в связи) к тем наличным социальным и экономическим „безобразиям", которые имели место над погибающим классом. Тот же Леванид и Леваниды отнюдь не проявляли интереса к прекращению социальных и экономических безобразий, имевших место при господствующем классе дооктябрьской России.

Огромные социальные события 17 года наложили на Леванида свой отпечаток. Нравственно потрясенный, опустошенный, деклассированный, он переживает личную катастрофу. Старое растерял, нового не приобрел, сумбур. Но он пытается свою интеллигентскую романтику приспособить к новым условиям и даже умудряется видеть в себе процесс большевизации. Свою разочарованность в трескучих либеральных фразах, пацифистские настроения он и понимает как большевизацию. На этой опять-таки „внеклассовой", интеллигентской, нисколько не пахнущей даже большевизмом установке он увязывает свои переживания с переживаниями молодых интеллигентов Запада, так же, как и он, мечущихся в межклассовом пространстве и не знающих, куда им приложить свои силы.

Ужасы войны, в лицо которой он заглянул, вызвали в нем известные пацифистские настроения. Леванид эти настроения, как мы уже указывали, понимает, как свою большевизацию. Он так и пишет: „большевизация Леванида пошла именно по этой линии, по линии глубокого уважения к взбунтовавшимся солдатам и дезертирам". Но и это „глубокое уважение" к взбунтовавшимся рабам опять-таки чисто словесного порядка настроение, и не глубоко продуманное, осознанное отношение к ним. Наоборот, вся жизнь Леванида по его „Запискам" характерна как раз презрительным отношением к массе, непониманием ее, резкой отчужденностью и противопоставлением себя массе. Вообще масса, ее жизнь, настроение, роль, реагирование на происходящие события даны в „Записках" в таком виде, и постолько, поскольку это нужно для выявления „героической" роли самого Леванида. И понятно, Леванид, совершенно чуждый массе, не понимающий ее, не мог бы дать правиль-

ного описания тех процессов, которые происходили в массе солдат. Их тяга к миру, смутные представления о происходящих событиях, постепенно оформлявшиеся в организованную силу самосознания своих классовых задач, — этого уяснить Леванид, конечно, не мог, не мог дать правильного политического и психологического анализа. „60% солдат — героев фронта добровольно готовы итти за „родину“ на верную смерть“. Так думает Леванид. А кто против войны? Оказывается, что против войны активную агитацию ведут бывшие полицейские. Уже одно это представление Леванида о фронте чего стоит! Вообще массы выведены или оголтелой толпой, несчастными людьми или „стадом баранов“, легко поддающихся „пришпандориванию“ идей Леванида. Стоило только Леваниду заявить, что он, Леванид, уйдет из полка и больше с солдатами разговаривать не будет, как в массе происходит резкая перемена, и они за Леванида. Только что прибыв на фронт, еще в конце 16 года, Леванид сердито спорит с господином полковником и звонким голосом заявляет:

— „С русским офицером, а не с денщиком говорить изволите“.

В бою колотит солдат палками, о ругани уже говорить не приходится. А когда Леванид дезертирует, он не забывает, однако, и денщика захватить с собой.

Из всего этого социального облика Леваниду ясно совершенно, что почти все его рассуждения, преломляющиеся в его миропонимании, искажены, неправильны, абстрагированы. Да может ли он в хаосе своих „идей“, или, вернее, идейного убожества и исключительной политической неграмотности давать правильный политический анализ и оценку происходящим событиям! Идет ли речь о дисциплине, об оценке временного правительства, отдельных политических событиях, советской власти и т. д. — во всем этом Леванид, конечно, себе верен, проявляя исключительное непонимание этих событий и несет, попросту говоря, галиматью. У него солдаты и офицеры уже в 1917 году поют гимн III Интернационалу, а некоторые мысли, сценки и рассуждения автора „Записок“ пахнут даже давно уже высохшим навозом белогвардейщины.

Некоторые итоги. Жизненен ли тип Леванида или он эксцентрик? Кто знает и вспомнит то время, увидит много таких Леванидов, вербуемых из разных социальных

прослоек, идейно беспочвенных, развинченных, буржуазным воспитанием приспособленных к слепому служению капиталу, им искалеченных. Их было много. Во имя трескучих фраз, нереальных идей они шли на жертвы, думая, что спасают „родину", „отечество", „свободу", „революцию". Эти идеи в столкновении с реальной действительностью развенчивались. Вопросы четкие, ясные, социально-политические вопросы — за какой класс, за кого, — встали перед ними и требовали прямого ответа. Интеллигенция стала расслаиваться. Одно из самых, можно сказать, сильных орудий буржуазии—обработанная ею интеллигенция—революцией бита. Для многих ответ на этот основной вопрос был мучительным процессом переделки себя, перевоспитания всего того, что накапливалось годами, откладывалось в мозгу, крови годами школы, пропаганды, социального окружения. Для других, более связанных с господствовавшим ранее классом и его привилегиями или от него вышедших — это был прямой переход к бешеному белому террору, уже без прикрас и либеральных мудрствований, против посмевших восстать трудящихся масс. А некоторые, как Леванид, духовно опустошенные, продолжали топтаться в непонимании событий, неудачно самоопределяться и, в поисках путей сочетания „внеклассовой" интеллигенции с новой социальной обстановкой, повисли в воздухе между двумя жерновами. И порой висят и по сие время, пока ход событий классовой борьбы не заставит их самоопределиться в ту или другую сторону или сотрет их.

Автор пытается придать „Записками" некоторое идейное обоснование и этим р е а б и л и т и р о в а т ь Леванидов и их прошлое, показать их с лучшей стороны, показать их как героев. В связи с этим и действия Леванида развиваются на соответствующем сплошном фоне обывательщины, кретинизма и „бунтующей черни". По „Запискам" Леванид — лучше всех окружающих его людей. При этом автор отнюдь не довольствуется только действиями Леванида, но и часто дополняет их всякими репликами, объяснениями, трактовкой, чтобы еще больше оттенить положительность своего героя, которым автор так восторгается. Других типов, в сравнении с которыми выявился бы социально-нравственный облик Леванида, настоящая его ценность, никчемность и пустота, в „Записках" нет. Однако факты, вся жизнь Леванида бьет его же нещадно, выявляя убо-

жество этих довольно-таки прозаичных, плюгавеньких и пошлых идей, которыми автор думает прикрыть всю неприглядную наготу Леванидов, никчемность и растерянность выбитых из привычной шаблонной колеи дрессированных слуг буржуазии, которые мятутся, не находя себе места, и в бесплодных, безотчетных душевных смятениях ищут внутри себя оправдания, а подчас и путей для примирения непримиримого. И если в этих „Записках" многие найдут отображение своего лица в прошлом или настоящем, то и для нас небезынтересно иметь человеческий документ, ценный своей искренностью, ярко характеризующий облик Леванидов — „главноуговаривающих", которые в 17-м, да и в последующие годы сыграли не малую роль в одурачивании масс, стоившем много жизней и крови трудящимся во имя интереса русской буржуазии и союзников.

А. Кадишев.

I

НАЧАЛО

Леванид, как всем хорошо известно, жил и действовал в Спарте и тем особо прославился, что с горсточкой небольшой спартанцев громаднейшее Ксерксово персидское войско в Фермопилийском ущельи до смерти долго от продвижения вперед задерживал. До смерти до своей, Леванидовой, — ибо пока его не укокали персы через ущелье пройти не смогли. Сделали же они это вдумчиво и не торопясь.

Но не о том Леваниде речь. Речь идет о нашем Леваниде. О том Леваниде, что и в последней войне мировой участвовал и в революциях болтался и с Красной армией по России-матушке порядочно пошатался.

А от того Леванида этот Леванид тем отличен, что тот как уперся в своем Фермопилийском ущельи, так до самой смерти проупирался. Там его, значит, и порешили.

Наш же Леванид драться — дрался, упираться — упирался, но чтобы дело, как говорится, дальше чем „до ручки“ дошло, так нет. „До ручки“ сколько раз доходило, а дальше нет.

А воевал этот Леванид помногу, не только в старой армии на германском фронте или в Красной с Колчаком да с поляками, но и вообще так — с людьми, безо всякой видимой причины.

То есть причина-то, конечно, была; в этой причине все и дело.

А причина та в том состояла — очень уж Леванид наш идеями задавался и ни на что попросту смотреть не хотел. Едут, бывало, офицеры группою на фронт — всем только и дело, либо пьянствовать да ругаться, либо труса праздно-

вать, да о доме и о Москве вспоминать. Леванид же ходит гордый, сияющий — он, видите ли, „отечество защищает".

Пока Леванид еще молод был, война его с людьми не особо была тяжелая: напакостят, но не до отказу. Ну, а как вошел Леванид в полную силу, как стало ясно, что, того гляди, он и на шею сесть соседу сможет, — пакостить стали всерьез, взаправду. Вот и воевал Леванид с людьми не по своей охоте, а приходилось. А как он воевал, пока в старой армии служил, о том речь дальше и пойдет.

II

ЗАПАСНЫЙ ПОЛК В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

В самом конце 1916 года послали Леванида на фронт на германский, но к югу. Поехал. Ехал в партии молодых прапоров, человек около тридцати.

Приехали.

А в полку молодого офицерья — пруд пруди. Никто на приехавших и смотреть не хочет. Для жилья отвели им „Новое офицерское общежитие". Пошли офицеры туда — на дворе мороз еще, земля твердая, лужи „выпиты морозом", как иногда писатели выражаются, ан — „Новое офицерское общежитие" дом из себя представляет, вход елками украшен и надпись соответствующая есть: „Новое офицерское общежитие". Только ни окон, ни дверей в том доме нет, и ветер по дому на полном просторе прогуливается.

Достали офицеры коньяку, вечер на морозе скоротали.

На утро чем бы квартиры подыскать, да как-нибудь по теплым уголкам молча рассоваться, пошли все гурьбою за Леванидом в штаб к командиру полка с претензией.

— Мы-де отечество защищать приехали, а вы нас заместо лошадей, только что не под навесом, разместили. Ни окон, ни дверей в том доме нет, а мороз по ночам серьезнейший. — Выслушал полковник. На адъютанта вскинулся, адъютант на кого-то еще, и все начальство в другую комнату побежало. Поговорили, поговорили — назад. И полковник это полным голосом:

— Молчать! И ежели кто недоволен, на фронт сию минуту отправлю.

Ну тут, ежели без идеев, надо поворачиваться и ухо-

дить. Ан, нет. Леванид языка за зубами удержать не может:

— Русских офицеров фронтом не пугают, господин полковник, и фронт, господин полковник, не каторга, да будет вам это известно.

— Ах так? — хрипит полковник, кровью налившись, — ах так! Кто еще из вас, господа офицеры, таким же образом рассуждает?

К Леваниду человек шесть отошло.

— Ну, я вас с завтрашнего же дня на ученье гонять буду. Другим я по десять дней отдыху даю — пусть к городу привыкнут. Вы с завтрашнего же дня на ученье пожалуйте.

— А только мы, господин полковник, — Леванид ему говорит, — из этого домика на ученье ходить не согласны. Отведите нам сначала квартиры.

— Не согласны? — вскинулся было полковник, но тут же сразу и успокоился, слишком уж уверен в невозможности ослушания был. — Увидим, увидим мы это завтра, господа.

Повернулся и ушел.

Опять достали офицеры коньяку. Ночь проужинали — на пьянство коньяку не хватило, а с утра ушли на другой берег Днестра в деревню спать. По дороге в деревню, в поле, на лису охотились, как ребята малые, только не с палками, а с шашками. День-то был холодный, яркий, солнце на снегу блестит, а снега слой неглубокий, поларшина, сверху корка и твердая.

Ну, значит, лиса из кустов выскочила, шмыг — и бежит, а лапы сквозь корку проваливаются и застревают. До крови та корка лисе лапы режет. Прапоры ее и стали нагонять. И догнали бы, из-под самых рук ушла, чуть саблями не зарубили. На твердую почву лиса вышла, на горбинку, где снег сдуло.

Постреляли ей вслед господа офицеры из нагана, чуть друг друга не поранили. Потом на зайцев поохотились — все с наганами же — и таким образом добрались до деревушки.

Там поели, легли спать и за двое суток, проведенных без сна, отоспались. А как стало солнце заходить, пошли вниз в город и у самого моста через Днестр господина полковника встретили, вместе с адъютантом. И, значит, на другое же утро на фронт откомандированы были.

Не займись Леванид идеями о „защите отечества“, о „чести офицерской“ и о „правах офицеров на помещение“, так бы всю революцию и просидел бы он в запасном полку. Все остальные из его группы так и поступили.

Ну, а Леванид и кто с ним — штопором на фронт полетели.

IH

БОЕВОЙ ФРОНТ. ШТАБ 293-го ПЕХОТНОГО ИЖОРСКОГО ПОЛКА

Летели, летели, летели офицеры. Прилетели.

Штаб полка. Полковник, адъютант, канцелярия, писаря. Все как водится, все в порядке, все на месте.

Ну представляются: „господин полковник, прапорщик такой-то“ и т. д. — по форме.

— Что еще скажете? — говорит полковник.

Леванид к нему:

— Разрешите мне, господин полковник, просить вас о назначении меня и прапорщика Ястребова в одну роту.

— ..... заниматься?! — заревел полковник. — В разные батальоны вас назначу.

Вот тебе и „защита отечества“, вот тебе и „святая любовь к родине“, вот тебе „честь погон и офицерского мундира“, вот тебе и „боевое товарищество“.

Вот какие в жизни разочарования бывают, а господин полковник добивает:

— Впрочем, по мне наплевать. Коль ..... заниматься не будут, ... будут.

Леванид осерчал, встал по службе и этаким звонким голосом:

— С русским офицером, а не с денщиком говорить изволите, прошу этого, господин полковник, не забывать!

Даже замолчал на минуту полковник, а потом:

— Да вы из сердитых... Ну, ничего, насидитесь же вы у меня под арестом. Успеете.

И лег спать тут же, даже похрапывать стал.

А адъютант начал с вопросами подъезжать:

— Вы, — говорит, — из студентов, да какие у вас убеждения, да что про царя с царицей говорят? Мы тут все свои, а полковник спит, вы на него внимания не обращайте.

И действительно, дышит полковник спокойно, ровно и даже слегка похрапывает.

Но только Леваниду один глаз полковничий виден, и замечает Леванид, что веко на том старческом глазу подергивается совсем не как у спящего. Уставился Леванид на око полковника, а сам что-то про царя говорит. И вдруг видит Леванид, око начальственное медленно это, тишком, приоткрылось, на него, Леванида, глянуло и захлопнулось. Понял Леванид — сидит он на допросе, как в охранке. И опять горем наполнилось сердце Леванидово. Вот тебе и „честь офицерская", вот тебе и „защита отечества".

Посидели, посидели офицеры, да и поехали в запасный батальон полка, куда по первому делу назначили. А там еще лучше.

Встретил полковник, такой пригожий, с Георгием на шее. На стене золотое оружие, рапортовать не дал, прямо навстречу вскочил, руку протягивает:

— Вы студент?.. Я тоже в университете был, очень политикой интересуюсь — я парень-рубаха. Правда ли, — продолжает, — что государыню в измене обвиняют?

Так с места и начал.

Леванид сразу почувствовал, с кем встретился. Встал и отрапортовал: я, говорит, верноподданный моего императора, и ежели при мне что такое говорят, я не слышу.

Тут и товарищи Леванидовы суть дела уразумели. Полковник же притих.

Вот тебе и первое впечатление в „родном полку" при начале „боевого служения родине".

IV

ПЕРВАЯ ВЕСТЬ О РЕВОЛЮЦИИ

Наступил март 1917 года и в Леванидовом полку вести про революцию получились.

Полк в то время на убийственной позиции стоял. На некоторых ротных участках до немцев только шестьдесят шагов было, и шли наши и их окопы рядом по склону холма крутого. Их сверху, наши внизу. Эта позиция имя Утюг носила.

Командир полка всеми этими обстоятельствами воспользовался и газеты солдатам передавать запретил. Ухитрился

он в своем полку революцию до 15 апреля, день ухода полка на отдых, задержать. Государю же императору, Михаилу Александровичу, „благочестивейшему и самодержавнейшему", по приказу генерала Брусилова, полк Леванидов присягнул. В окопах присягали по-ротно, а в резервном и запасном батальонах — по-батальонно.

После присяги запасного батальона митинг состоялся, и Леванид на нем с речью выступил и той своей речью свою карьеру главноуговаривающего в 293-м полку начал. Солдатам та речь очень понравилась.

После митинга командир полка офицеров в блиндаж перевязочного пункта созвал и с речью к ним, поистине замечательной, обратился:

— Ну, вы знаете, господа офицеры, что произошла у нас революция, а это значит офицерским нашим правам умаление. Погибла армия. — Голос полковника дрожал, он был глубоко взволнован, на глазах стояли слезы. — И не потому погибла армия, — продолжал он, — что немец нас разобьет или сил у нас или снаряженья мало, а потому она погибла, что один подлец, справа, с перепугу завопит „обошли", — а его наганом успокоить теперь уже нельзя, — а другой подлец, слева, то же самое крикнет „обошли" — и его тоже из нагана не успокоишь. Вот что, вот дело-то как с армией русской обстоит. Армию, господа офицеры, спасать надо.

— А для этого надо умеючи к солдатам подъехать, придется так сделать, чтобы солдаты вас не только за начальство, а и как товарищей своих старших, как руководителей, почитали. Но теперь, в настоящую минуту, грустно в том, господа офицеры, признаваться, но солдаты все за республику стоят, против государя императора настроены. Потому, если подъехать к ним хотим, должны мы тоже республиканцами быть. Вам всем у меня в полку приказываю стать республиканцами.

Кончил.

Поднялся шум невероятный, господа офицеры загудели, объявили, что „теперь свобода", а как свобода, то слушать они ничего не хотят, убеждения их тоже свободны, а потому как они все монархисты, то приказа умного полковничьего исполнять не хотят.

Не больше, не меньше.

Тут-то Леванида идеи о „защите родины", о „защите

революции", „долге гражданина", как щепку, подхватили и в самую середину споров с господами офицерами бросили.

Но на этот раз кроме шуму ничего не получилось.

Все же Леванид не один выступал на поддержку полковника. Вместе с ним еще три доктора полковые сражались да еще два-три офицера.

V

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОГО РАСКАЧИВАНИЯ В ПОЛКУ

Командира полка солдаты ненавидели на-смерть. Было за что. Был он угрюм, ругатель и мордобоец отчаянный. Когда проходил он по окопам, все замирало. Солдаты буквально расползались по щелям. Без малого каждому встреченному в окопе солдату считал полковник необходимым дать по физиономии — для поддержания порядка и дисциплины, конечно. И действительно в том полку дисциплина была жесткая. Учебную команду полка и на столичном смотру с успехом показать было можно.

На совести полковника три русских солдата числились, которых он в 1915 году собственноручно из нагана застрелил. И при свидетелях. Винтовок тогда не хватало. Был строжайший приказ отдан, чтобы легко раненые из бою винтовки выносили. Вот в разное время трех ослушников, отказавшихся итти назад под огонь искать брошенную винтовку, господин полковник „для поддержания дисциплины" и пристрелил.

Порешили солдаты между собой, как только полк на отдых в резерв отойдет, так командира полка обязательно на штыки поднять. Решила тогда небольшая кучка людей, с которой Леванид в полку сошелся — три доктора да еще два-три офицера, — спасти командира полка от солдат. А для того, чтобы солдат от расправы удержать, партию в полку образовать решили и постановили назвать ее „Союзом республиканцев 293-го Ижорского полка".

Но не сразу до этого додумались. Помогла погода. В ночь, когда полк отходил в резерв, началась буря. Со многих холуп посрывало крыши, солдатские землянки затопило водой. Не до полковника тут было солдатам.

А когда погода прояснилась, когда землянки пообсушились и когда солдаты выспались, то на всех стенах и

плетнях солдаты увидели расклеенные воззвания и устав союза республиканцев. И сейчас же по ротам через докторских приятелей подпрапорщиков и унтерцеров из народных учителей воззвания разослали и листы особые с предложением солдатам, ежели кто пожелает, в новую партию записаться.

Офицеров уговаривали лично, но только они все, кроме двух-трех, что с самого начала присоединились, от вступления в „Союз республиканцев" отказались. А командир полка записался.

Приказал ЦК новоиспеченной партии господина полковника не трогать. Митинг собрали — первый в полку. Командир полка на самодельную, наскоро сколоченную трибуну вышел и со слезами на глазах у солдат прощенья просил. Бант себе красный приколол.

Солдаты, конечно, растрогались и простили, а потом, обнявшись или под-руку, с офицерами по поселку ходили и песни революционные хором пели.

Докторов же и Леванида господа офицеры за спасенье командира полка от верной смерти благодарили.

VI

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ

Одного часа не прошло с того момента, как братание офицеров с солдатами кончилось, а уже господ офицеров от того революционного братания с солдатами тошнить стало и решили они раньше всего с Леванидом посчитаться.

Послали за Леванидом двух депутатов. Депутаты к Леваниду пришли и говорят:

— Офицерство-де вы оскорбили, честь погон и мундира, на митинге выступая, задели, а потому желают господа офицеры с вами объяснение иметь. На собрание офицерское вас просят.

Пришел Леванид со своими докторами и двумя другими офицерами на офицерское собрание.

Сел и глядит.

В красном углу под образами командир полка и поп полковой сидят. У офицеров лица нахмуренные, самые зверские.

Как только собрание на минуту затихло, встал это командир 1-го батальона подполковник Эльмах, кавалер Геор-

гия и оружия золотого. Малый славный, из немцев, а может, и из шведов, с усами белыми, пушистыми, и стал он речь к Леваниду держать немилостивую:

— Вы, — говорит, — молодой человек, честь мундира и погон оскорбили, вы, — говорит, — офицеров призывали пьянство бросить, картежную игру прекратить и за сестрами на-время перестать увиваться. А между тем вы, прапорщик, только молокосос, мальчишка, да притом из болтливых, а кто болтлив, тот под пулями труса празднует. Так-то. Я же, Эльмах, офицер храбрости известной: ни в карты не играю — все деньги жене в Россию отсылаю, — ни вина не пью, а как женатый человек, на сестер внимания даже не обращаю. Что же вы нам на все на это, господин молокосос, ответите?

Засмеялся Леванид сначала, а потом озлился:

— Что вы офицер храбрый, то мне известно, а трус ли я или не трус, о том после первого боя судить будем. Пойдемте, господин полковник, рядом: кто первый поклонится. А только, да будет вам это известно, уменье говорить — воинской доблести не противоречит. Все знаменитые полководцы, о которых история повествует, и-их как говорить-то умели и солдат за собою не только делом, но и словом увлекали. В российской же офицерской среде, вследствие безграмотности всеобщей, действительно максима такая установилась: раз говорить умеет — значит трус. Теперь о вине, о картах, о женщинах. — Позвольте, — продолжает Леванид, — поручик Грушенский, и вас, капитан Таманский, а также вас и вас и вас, господа офицеры, спросить: вы в карты играете?

— Играем! — рявкнули.

— Ну, а вину по мере сил и возможности честь отдаете?

— Оттддаем!.. — зарычали.

— А если случай представится, сестричку смазливенькую в уголке укромном прижать — прижмете?

— Прррржжжмем!.. — прямо этак сквозь зубы процедили.

— А погоны и честь мундира вы уважаете?

— Ууууввважжжаем!!

— Так занятия эти вы для погон оскорбительными не почитаете?

— Нннет, не почитаем.

— И я, — говорит Леванид, — тоже не почитаю. Но

тогда чем же, господа офицеры, погоны-то я оскорбил: неужели тем, что я на митинге занятия все вышеперечисленные на-время оставить призывал? А кроме того, заместо этих занятий меньшому брату нашему, солдату, в текущих событиях политических помочь разобраться призывал?

Офицеры было поуспокоились, некоторые заулыбались, ловко, мол, режет, но только подполковник Эльмах не из таких был:

— Зубы заговаривать, господин молокосос, ты мастер, а вот только ото всего офицерского собрания я тебе вызов делаю: стреляйся по очереди с каждым из нас, принимаешь?

Улыбнулся Леванид:

— Вы на окна-то, господин полковник, посмотрите.

Глянули офицеры, а в окнах солдатские лица одно к другому приклеены, так что даже свет дневной в холупу не проникает.

— Ну что, поняли, господин полковник, если я вас всех по очереди перестреляю, то и в этом случае мне от солдат ничего не будет, а если хоть один из вас меня ранит, остальных, может статься, солдаты-то и перебьют. По окончании войны, господа, я к вашим услугам.

— Увертываешься, — заревел Эльмах, — на месте вас всех перебьем!

Выхватили офицеры наганы, а иные даже курками защелкали. В один угол холупы доктора, Леванид, начальник пулеметной команды и только что вернувшийся из отпуска адъютант полковой отскочили, в другой угол и в середине избы остальное офицерство в кучу сбилось, а командир полка и поп полковой всё в своем углу под образами сидят, только бледные стали, как полотно.

Стоят офицеры, наганы в руках, дуло чуть-чуть вниз направлено. Что бы дальше произошло — неизвестно, да поп выручил.

Был он бабник большой и трус, к полковнику подлизывался инда смотреть было тошно, толст был и собою на бабу смахивал и никто его в полку за человека не почитал. Все время тот поп в штабной избе у полковника на глазах терся, а разговору у них только и было, если снаряд поблизости от штаба разрывался. Задрожит поп, бывало, побледнеет и заговорит:

— Господин полковник, это подготовка.

— ..... молчите, батюшка.

— Я молчу-с, господин полковник.

Но тут минуту затишья и нерешительности поп дельно использовал. Вскочил он это на ноги, да и возгласил этак торжественно, однако, как всегда, фистулой:

— Братие, выслушайте своего пастыря духовного, остановите смертоубийство...

От изумления, что поп заговорил, часть офицеров даже наганы попрятала. Ободренный успехом, поп продолжал:

— Братие, все меня здесь любят и уважают...

Но ни единого больше слова не удалось сказать миротворцу удачливому: бурный всеобщий хохот и радостные дружественные восклицания, вроде: „Это тебя-то любят и уважают?“ „Попик наш об уважении возмечтал“ — разрядили настроение.

Попа хлопали по плечу, давали дружеского тумака в бок, лезли к нему целоваться, но потом, увидя, что он не на шутку, до слез обиделся, офицерство его оставило и с хохотом повалило вон из избы.

VII

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

Не прошло и трех дней, как разбудили Леванида утром и предложили явиться перед новым полковым комитетом: „Полк взбунтовался, старый комитет вместе с вами сброшен и новый комитет вас для дачи объяснений приглашает“, говорят.

Пошел Леванид. На крыше землянки-барака кучка солдат стоит — новый полковой комитет. Вокруг весь полк — митинг.

Леванид тоже на крышу землянки вскарабкался.

— В чем дело? — спрашивает.

— Полк, — ему говорят, — вас слушать желает, потому как нас опять вне очереди на позицию посылают.

— А вы что за люди будете? — Леванид спрашивает. — Где полковой комитет? — А сам Леванид отлично видит, что члены старого полкового комитета внизу в первой шеренге стоят и на него, Леванида, во все глаза смотрят.

— А мы, — говорят Леваниду в ответ, — новый полковой комитет.

— Что же это такое, товарищи? — Леванид к полку

обращается, и потом быстро: — Кто за старый полковой комитет, прошу поднять руки!

Молчат, ни одной руки.

— Ну, до свиданья товарищи, вы избрали полковой комитет два дня тому назад, избрали не по гучковской инструкции, а на основании всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Меня тоже избрали, а теперь сегодня с чего-то пожалуйте вон; мы уйдем, но уже не только из комитета, а и из полка тоже, да и говорить ни я, ни доктора с вами больше не станем.

Видит Леванид — общее замешательство. Он опять:

— Кто за старый полковой комитет, прошу поднять руки!

Все подняли, и новый полковой комитет сразу с крыши соскочил и в толпе исчез, а члены старого комитета моментально на крышу землянки вскарабкались.

Леванид опять спрашивает:

— В чем дело, с чего сыр-бор загорелся?

Ему говорят:

— Полк опять вне очереди на позицию посылают, а ведь мы только пять дён как сменились. Заамурская дивизия самовольно с позиции ушла, а наш начальник дивизии на совещании комкору и заяви: „моя-де дивизия завсегда за меня в огонь и в воду". Ну и вызвался сам нас опять на позицию вне очереди вернуть. Не пойдут солдаты, нипочем не пойдут!

VIII

О НАЧАЛЬНИКЕ ДИВИЗИИ

Ну, а начальником той дивизии (да полно, только ли той одной?) блажной старик свиты его императорского величества генерал-лейтенант был.

Росту огромного, борода длинная. Летом всегда в белом — в шелковой либо в чесучовой рубахе. Богомолен был до крайности. Всем в дивизии известно было, что перед каждым боем его бессменный начальник штаба, генерального штаба капитан, лично командиров всех полков дивизии объезжал и предупреждал:

— Ни одного распоряжения начальника дивизии не исполнять, слушайте только меня и что я вам от его

имени передаю. Ведь вы знаете, чем он в своих боевых приказах руководствуется.

А уже в дивизии все знали, что в один из трудных моментов боев осени 1916 года начальник дивизии, не зная, что приказать Березинскому полку — наступать или отступать, — с лошади слез, дело в лесу было, на колени посреди дороги в грязь опустился и громким голосом молиться стал:

— Мати пресвятая богородица, заступница наша небесная, вразуми меня, раба недостойного, что мне Березинскому полку приказать — отступать или наступать?

И покрестившись некоторое время молча, встал, вскочил в седло и приказал: „отступать".

Красные банты, красные мысли и революцию ненавидел тот генерал всем своим существом и было уже в то утро Леваниду, на крыше землянки перед полком стоящему, известно, что накануне в местечке, где стоял штаб дивизии, начдив этот в середину митинга верхом ворвался, красное знамя от палки отодрал, на землю бросил и, с лошади слезши, долго его ногами топтал. Потом на лошадь сел и к себе ускакал.

Солдатской любви он тем себе не заработал.

IX

ЛЕВАНИД ПРОБУЕТ УСПОКОИТЬ ПОЛК

Стоит Леванид на крыше землянки перед полковым митингом и всю эту характеристику генеральскую припоминает. А солдаты внизу волнуются, по кучкам разбившись, но не расходятся.

Через некоторое время солдаты опять сомкнулись и орать начали: „Долой начальника дивизии!". „Что же ты молчишь?" „Нипочем на позицию не пойдем!".

К этому времени на крышу землянки командир полка влез, к Леваниду протискался и на ухо ему шепчет:

— Вот уже шестнадцать часов, как фронт на Утюге открыт. На целом полковом участке одна рота сапер добровольцев стоит — и только.

Сказал и ушел, за свою шкуру, наверное, настроение солдат учитывая, опасался. Леванид же продолжал стоять на крыше землянки.

И опять тут та история случилась, что всегда с Леванидом приключалася, когда идеи его пришпандоривать начинали.

Подойди Леванид к положению попросту, „без идеев", все и пошло бы как по маслу.

Взбунтовался полк — его бы в резерв отвели; стали бы уговаривать — он бы отмалчиваться стал, глядишь, в последние бы бои, что господин Керенский 18 июня 1917 года затеял, полк бы и не попал, люди бы и остались целы.

Ан нет.

Леванидовы идеи о „долге воинском, солдатском и офицерском", о „защите отечества и революции", о „подлости шкурничества" пришпандорили его.

И такой раж от этого пришпандоривания на Леванида накатил, что тут же речь горячую и громовую он к товарищам солдатам начал:

— Товарищи солдаты! — говорит, — революция и родина в опасности! Постольку поскольку правительство Керенского выполняет волю революционного народа, то-есть Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, постольку поскольку обязаны мы кровь свою проливать... — и пошел и пошел.

Кругом это весна галицийская сияет, небо синее, солнце светит, птицы поют и Леванид тоже поет; остальным делать все равно нечего, ну и слушают.

Только сзади-то Леванида кучка офицеров стоит, и слышит он оттуда голос: „Дурак, и чего из кожи лезешь — под пулю хочешь? Солдаты бунтуют — ты помалкивай. Наше дело: „молчать и повиноваться".

И на них Леванид ощерился, чем дальше тем больше в раж входит и наконец полк до того довел, что единогласно солдаты постановили: от окончательного решения пока что воздержаться и депутацию к начальнику дивизии для выяснения вопроса отправить. Делегацию наметили в составе командира полка и двух представителей от полкового комитета; ну и Леванид, конечно, в ту делегацию попал.

X

ЛЕВАНИД БЕСЕДУЕТ С НАЧАЛЬНИКОМ ДИВИЗИИ

Подали коляску полковничью. Важнейшая коляска, петербургская, парная, на резиновом ходу, с высоким задом.

Сидит в ней человек, а голова затылком на спинку опирается.

Посадил Леванид рядом с полковником для соблюдения демократического принципа унтерцера, что вторым делегатом от полкового комитета ехал, а сам из скромности на скамеечку, что против главного сиденья, уселся.

Коляска же эта проселком на шоссе выкатилась и дальше по шоссе покатилась.

У Леванида сердце радуется, и весело ему и интересно: кругом поля зеленеют, солнце светит, все блестит, перед ним эдакий полковник важнеющий в парадном кителе со всеми орденами сидит.

У полковника глазки бегают — не совсем-то он этой поездкой доволен. Но усы седые, белые-белые, совершенно спокойно лежат, только концы усов колечками кверху от сотрясения коляски покачиваются.

Проехали шоссе, началось Козово, местечко полуевре́йское, грязное, грязное. По нему до фольварка ехать надо, известно ведь, что штаб дивизии или корпуса в Польше или в Галиции всегда на фольварке стоит. Для полковых штабов фольварков часто не хватало, ну а для дивизионных и корпусных они всегда находились.

Проехала коляска по улицам местечка, поднялась на горку, въехала во двор фольварка.

Видят сидящие в коляске, во дворе по левую руку, крыльцо большое, а на крыльце мольберт стоит, на мольберте кусок белого картона поставлен, а перед мольбертом старик стоит с кистями и красками. Старик седой, высокий с бородой, одет в чесучовую русскую рубаху без погон.

А чуть поправее, куда старик все время головою вскидывался, на поводу красивого белого коня с серыми яблоками водят.

Полковник к Леваниду это наклонился и говорит:

— Я пойду вперед с его высокопревосходительством поговорить, а вас потом вызовут.

Субординация воинская, видом начальника дивизии подкрепленная, до того Леванида сковала, что он только одним словом ответить смог: „слушаюсь“; а унтерцер, второй делегат от „демократических масс“, прямо в машину превратился, как бы застыл. Может быть, себя на смотру в присутствии „августейшей особы“ возомнил.

Быстренько командир полка из коляски вылез и, на

ходу козыряя, к генералу подбежал. Оба сейчас же в том домике скрылись.

Вскоре и депутаты от „демократических масс“ силы в себе обрели, из коляски вылезли и медленно на крыльцо генеральского дома подниматься стали. Им навстречу из дома казак в черкеске и при кинжале вышел и в дом — присесть — попросил.

Сидели депутаты, сидели, может, полковник там с генералом кофе распивали, но только наконец их к начальнику дивизии вызвали.

Входят. Небольшая комната, высокая, стены голые, большое окно, в окну боком конторка высокая американская приткнута. Перед конторкой на табуретке генерал сидит, с другой стороны в темном углу, тоже на табуретке, командир полка. Больше мебели в комнате нет.

Как только Леванид с унтерцером в комнату вошли, генерал встал и орет: „Здорово, молодцы!“ — как простых солдат привечает. Руки не протягивает.

Присутствие и, так сказать, непосредственная близость начальника дивизии Леванида с унтерцером в струнку вытянуло. Руки сами собой по швам протянулись и как бы приклеились. Однако достоинства своего демократического депутаты не теряли, отвечали тихо и в разнобой, как штатские люди:

— „Здравствуйте, господин генерал“, — по-новому, „по-революционному“ отвечали.

Генерал на такое приветствие только глазами поблестел и немедленно в душе своей порешил прапорщика дерзкого распечь и уничтожить.

— Пссаушиите, паапорщик, вы, конечно никогда не имели случая разговаривать лично с генералом (тут начальник дивизии для торжественности указательный палец правой руки кверху поднял), с генералом свиты его императорского величества, а уж в делегации от солдат бунтующих участие принимать вздумали. Используйте случай, молодой человек, извлеките из беседы со мной все, что сможете, а потом поезжайте и скажите пославшим вас, что я их прощаю... — Тэак?

Об унтерцере генерал совершенно забыл. Не смотрит на него, будто того в комнате нет.

Леваниду от скудоумия генеральского весело стало. Сразу идеи его всегдашние захватили, пришпандо-

ряли, робость, от субординации происходящую, как рукой сняло.

— Никак нет, совсем не так, господин генерал, — отвечает. Во-первых, у меня у самого два дядюшки генерал-лейтенанты, оба военную академию окончили. У них и в доме отца я на различнейших генералов и свитских и несвитских достаточно нагляделся, поэтому с этой стороны никакой новинки у меня в беседе с вами нет. А как я дух и мысль генеральскую знаю, то и вижу я, что вы, господин генерал, настроение солдат вашей дивизии не понимаете. Учитывая важность событий, кои на родине сейчас происходят, и приехал я сейчас к вам делегатом, солдатское настроение вам здесь сейчас изложить.

Позеленел генерал, однако с собою справился, вплотную к Леваниду подошел. Росту он был громадного. Леванид сам не мал был, а тому генералу только в конец белой бороды под подбородок смотрел. А борода была длинная, не то, чтобы слишком большая или пушистая, а такая хорошая, не широкая и не узкая, не слишком густая, но и не редкая. На конце та борода чуть-чуть двоилась — настоящая генеральская борода. И хорошо так эта борода белая-белая с металлическим блеском на свежей чуть желтоватой чесучовой рубахе генеральской лежит. Красота.

Командир полка на своем табурете в темном углу сидит, ноги поджал, за перекладину заложил, не шелохнется. Унтерцер в столб превратился, неизвестно жив или нет.

Постоял это генерал перед Леванидом секунду-другую молча, но потом заговорил:

— Храбры вы, молодой человек, ой как храбры! Ну, да это для молодого офицера хорошо, и если бог вас от смертной доли убережет, хороший в моей дивизии офицер будет. Но голова-то у вас, молодой человек, головато чем набита? Какими идеями?.. (даже он, генерал, сразу тогда сообразил, что все несчастье Леванидово от идей проистекало).

— Я, — генерал продолжает, — служил вольноопределяющимся еще чуть ли не в таком-то году (тут генерал увлекшись едва ли не 1725 год назвал) и с тех пор собственным горбом (это в императорской-то российской гвардии!) до чина генерал-лейтенанта свиты его императорского величества дослужился. Сейчас мне семьдесят четыре года,

на службу я поступил семнадцати лет, с тех самых пор я все время с солдатами живу. Крымская кампания, Турецкие войны, Японская война... да вам-то сколько лет от рождения минуло?

— На-днях, господин генерал, двадцать один год исполнился.

— Так я уже целых три ваших жизни в войсках его императорского величества отслужил! — радостно заорал генерал. — Ну, и кто же, по-вашему, солдат лучше знает, вы или я? Вы или я?

— Я, господин генерал, — Леванид отвечает.

Даже отскочил генерал.

— Становится интересным, молодой человек, попробуйте развить вашу мысль.

Леванид, идеями своими увлеченный, начал было генералу со всей поспешностью мысль свою развивать, но только генерал его на первом же слове прервал да как заорет:

— Да неужели это я вас, молокососа, слушать собираюсь! Знайте, прапорщик: солдаты моей дивизии только о чести оружия русского помышляют и никогда позора на священные для них седины мои (тут генерал опять указательный палец правой руки кверху поднял), да-с, на священные седины мои позора никогда не положат... Тэак? господин генерал, совсем вы своих солдат не понимаете, вы их всегда в строю на вытяжку видеть изволили, а как к людям живым никогда не подходили. А сейчас время наступает иное. Осмелюсь я вам доложить, что о чести оружия солдат понятие, конечно, имеет, но до священных седин ваших, смею вас уверить, дела им совершенно никакого нет. Солдата русского Лев Толстой совершенно правильно понимал...

— В моем присутствии до сих пор, — генерал заорал, — имени Льва Толстого никто упоминать не смел!

— Солдат русский, — Леванид разглагольствовать продолжает, — смотрит на войну, как на тяжелую кровавую работу, которую делать, конечно, надо. Но чем скорее кончится эта работа, тем с его точки зрения лучше. На войну солдат смотрит вроде как на переправу через реку в лесодоход, и солдат требует, чтобы на эту работу даром его не посылали, чтобы работу эту ценили и по возможности об-

легчали. Поэтому к вопросам снабженья — к еде, снаряженью, одежде — относится он с чрезвычайным вниманием. Известно, например, что битву при Каннах Ганнибал выиграл только потому, что своевременно успел накормить своих солдат...

— Не упоминать в моем присутствии имени Ганнибала!

Уж не намек ли здесь генералу почудился какой-то? Тут же схватив Леванида за плечи обеими руками, генерал трижды с ним облобызался. Потом быстро-быстро перекрестил и снова Леванида за плечи обеими руками схватил и, откинув от себя на полную длину рук, вопросил:

— Молиться будешь?

— Я неверующий, господин генерал.

Генерал как-то съежился, моментально бросил Леванида, схватил делегата унтера за плечи, троекратно с ним облобызался, перекрестил и его, возгласив: „Ну, я вижу — мы договорились", бомбою из комнаты вылетел.

Командир полка молча встал и пошел к двери. Делегаты от „демократических масс" за ним. Прием окончился.

XI

ЛЕВАНИД СМЕЩАЕТ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ

И опять перед сидящими в коляске замелькали постройки Козовы, площадь с двумя кофейнями, по-тамошнему цукернями, одна получше — на углу налево, похуже — направо за высоким тротуаром, подпертым досками. В последней можно было еще по знакомству доставать изумительнейший белый портвейн. Ах, что это был за портвейн!.. Поехали прямо в полк. В полку коляску заметили издали и к приезду делегатов митинг уже собрался.

По дороге командир полка сказал Леваниду, что солдатам известна правда: действительно, заамурцы ушли с позиции, но никто на совещании командующего корпусом не предполагал возвращать на позицию 74-ю дивизию, только что сменившуюся. Генерал сам вызывался из хвастовства. „Чорт его дернул", сказал полковник.

Прибыв на митинг, Леванид сказал солдатам правду, то что знал. Поднялся шум и вой невообразимый. Сплошной рев поднялся: „Не пойдем на позицию, нипочем не пойдем!" А потом громче и громче стали раздаваться крики: „Долой начальника дивизии!"

Опять тут бы Леваниду в сторону отойти — генерал глупой своей хвастливостью полк взбунтовал, ну что же делать?

Да как бы не так.

Тут-то, как всегда, идеи Леванидовы пришпандоривать его с особой силой начали. И идея о „защите отечества", и идея о „воинском долге", и идея о „защите завоеваний революции" и многие другие.

Точно нож в бок Леваниду засадили — оглушительным голосом заревел он на солдат.

— Что несуразицу-то несете: на позицию не пойдем, начальника дивизии долой! Да ежели вы на позицию не пойдете, кто же с вами о начальнике дивизии разговаривать будет? Я спрашиваю вас: если начальника дивизии уволят, пойдете на позицию или нет?

Весь полк как один человек в голос заревел: „Тогда пойдем!"

— Так идите, — говорит Леванид, — я вам свое честное слово даю, что завтра же начальник дивизии смещен будет.

Солдаты обрадовались и даже фуражки в воздух кидать стали, а командир полка, момент ухвативши, речь к солдатам держит:

— Товарищи, слышали, что вам прапорщик Леванид сказал?

— Слышали, слышали!

— Мы все, товарищи, — полковник-лиса продолжает, — прапорщика Леванида любим и верим ему. А сейчас он говорит: надо итти на позиции. Так по ротам, товарищи! — И тут же, обратившись к стоявшим поблизости офицерам, обычным командным тоном распорядился:

— Господа офицеры, будьте готовы с наступлением темноты выступить на прежние боевые участки.

Надо думать, что в душе своей полковник обоих зайцев полагал уже убитыми: и полк на позиции, и Леванид, опозорившись со своим обещанием, либо из полка уйдет, либо — ну-да уж во всяком случае — уничтожен будет. Конечно, полковник не верил, что Леваниду удастся сменить начальника дивизии.

Быстренько с митинга все разбежались, остались на крыше землянки-барака только Леванид с товарищами. Те его — попрекать, кто во что горазд, начали.

— И что это ты только, Леванид, наделал!? С ума

ты сошел, и себя и нас на весь полк опозорил. На-смех теперь тебя и нас подымут.

— Не так-то просто, — Леванид в ответ. — Айда заседать!

Перед началом заседания Леванид потребовал по телефону срочного созыва дивизионного комитета, пять часов вечера срок назначил.

Потом резолюцию писать стали:

„Отечество, мол, спасая и опасность учитывая, личность начдива во внимание принимая, добились прекращения бунта обещанием уволить означенного начдива, чего ныне и требуем"...

Кончили резолюцию писать. Только времени осталось в повозку сесть да на заседание дивизионного комитета в Козово ехать. Поесть не успели, с собой в дорогу по куску хлеба взяли.

Тогда дивизионный комитет еще по гучковскому положению избран был и, главным образом, из капитанов и полковников состоял.

Три часа Леванид на заседании разливался, пока наконец угрозою лично полки объехать и их против начальника дивизии взбунтовать добился принятия предложенной им резолюции.

По прямому проводу от комкора и командарма смещение начальника дивизии потребовали. Самому начдиву по положению вечером для сведения постановление переслали.

Вернулись к докторам ужинать. Сидел там штабс-капитан один, кадровый, батальоном командовал. Сидит с краю стола, молчит. На Леванида не смотрит. Видно, душа у него не на месте, так весь и ходит. Ему и выпить предлагают и закусить — отказывается. Оставили в покое, не очень-то вообще его долюбливали.

Был он неказист, глазки маленькие зеленые, лицо испитое бледное, борода рыжая кусточками, но храбрый, всегда впереди. Однако за три года войны ни разу не контужен, не ранен.

— От него и пуля рыло воротит, — солдаты смеясь говорили.

Как человека его не любили, как боевого начальника уважали: „С ним не пропадешь", — говорили солдаты.

Был он сирота круглая, жизнь провел серую, убогую. Корпус — училище — полк — война. Радости вкусил, когда женился: была у него дочь, но на третьем году радости война началась и вот уже три года длилась. Все эти биографические сведения Леваниду доктора после ухода капитана рассказали.

Так вот, сидит этот самый человек за ужином, волнуется, есть не ест, пить не пьет, а только ерзает и крючится. Все же ему время от времени то того, то другого предлагают.

Вдруг как вскочит штабс-капитан, лицо красное, глаза блестят. Все к Леваниду кинулись, загородить его хотят, думали на него сейчас штабс-капитан бросится. А капитан постоял-постоял, да как зарыдает, опять сел, голову на руки положил и рекою разливается. А потом голову откинул, кулаком по столу стукнул и сквозь слезы эдаким фальцетом высоким: „С сего числа торжественно всем заявляю, стал я республиканцем!“ Бант красный из кармана достал и на грудь прицепил, а у самого слезы так и катятся.

Все молчат, и торжественно все как-то, и трогательно, и немного смешно. Даже оторопь одолела. Потом начали ему руки жать и в первый раз, да и в последний, положим, Леваниду с тем штабс-капитаном по душам поговорить удалось.

Уходя в свою халупу, Леванид думал: „Вот творенье рук твоих, о, дивизии начальник! Зри, как одухотворенный генеральской своей расторопностью в один день верноподданного офицера в республиканца превратил“.

На утро к Леваниду следователь военного суда приехал и взял подписку о явке в суд, сообщив, что Леванида военному суду за призыв солдат к бунту предали. Он же сообщил, что распоряжением командующего армией начальник дивизии смещен.

XII

ВТОРОЙ НАЧАЛЬНИК ДИВИЗИИ

Прислали нового начальника дивизии, генерального штаба полковника.

Леванид к тому времени уже председателем дивизион-

ного и членом корпусного комитетов состоял. Но и об этом начдиве в скорости хлопотать пришлось.

Вел он себя странно, распоряжения давал нелепые, укрепленные полосы приказывал возводить ни к селу, ни к городу.

Сначала в инженерных войсках об измене заговорили, а потом и в пехотных полках командиры головами качать начали. И тут уже офицеры дело через Леванида начали. Совсем по другой линии пошло. Собрался дивизионный комитет неофициально, потом корпусный, постановили вызвать комиссара армии Бориса Савинкова, не говоря для чего.

Приехал Савинков, окопы обошел, с сооружениями нового начдива познакомился, по планам их проверил, с офицерами поговорил и уехал.

Леваниду с ним лично быть пришлось, говорить же мало, лишь по делу словами перекидывались.

Начдив был в тот же день смещен, говорили, что прощаясь с чинами штаба, горько он на судьбу-мачеху жаловался:

— Дурная у меня наследственность, — говорит, — и папеньку моего отовсюду гоняли, вот и меня тоже.

XIII

АРМЕЙСКИЙ СЪЕЗД

Много ли, мало ли прошло времени, а стали делегатов на фронтовые, и армейские съезды выбирать. Леванид попал делегатом на оба съезда, и на армейский и на фронтовый.

Помнит Леванид шоссе белое-белое, колонны грузовых машин, возвращающихся в Тарнополь порожняком, — подвозили снаряды к фронту. Пыль столбом, а главное что запомнилось Леваниду — пустой белый от пыли кузов огромного грузовика, в котором бесконечно беспомощно треплется сам Леванид и два его товарища делегата. Бросает из угла в угол, трясет, как зерно в молотилке. Но это не самое ужасное. Хуже всего то, что по кузову шарахаются и извиваются тяжелые не очень толстые и удивительно подвижные железные цепи. Служили они для крепления груза на машине, а сейчас вольно потягиваются на дне грузовика и ничего-то поделать с цепями Леванид со

своими товарищами не может. Можно только увертываться: зазевался — и синяк на ноге или отбитая щиколотка.

По краям дороги чудный галицийский весенний пейзаж, сочная зеленая трава, огромные красные лужайки маков. Яркий, непривычно яркий для северного глаза пейзаж. Кудрявые дубовые рощи с тяжелой зеленью. Надо всем сияющее глубокое синее небо. Но путешественникам не до красот природы. Душу вымотала тряска и борьба с ожившими извивающимися цепями.

Это первый этап пути делегатов: Козово-Тарнополь.

Вечером в Тарнополе длительное сидение в кафе на перекрестке, где проходят машины на Бучач. Надо поймать пустую возвращающуюся порожняком, — за десять рублей шофер подвезет. Леваниду повезло, попался хороший Рено, в сорок сил. По ровному гладкому австрийскому шоссе до Бучача быстро докатили.

От переезда в голове Леванидовой остался туман: перед глазами стволы деревьев мелькают — шоссе с обеих сторон обсажено деревьями было, — а за ними серая, быстро темнеющая вечерняя мгла.

Бучач — кафе, ресторан и съезд. Потом опять: ресторан — съезд — кафе.

Съезд заседает с девяти утра до двенадцати ночи кроме часового перерыва на обед.

Говорят, говорят, говорят... и что самое удивительное — слушают и слушают — еще в новинку.

Вот говорит эсер, вот эсдэк, вот простой солдат окопник, вот штабной хлыщ, вот неофициальный профессор философии (потом выпустивший хорошую книжку: „Письма прапорщика артиллериста“ и Савинков в эту книгу очерк дал).

Говорят, говорят, много говорят. Говорят о шкурничестве. Офицерство солдат обвиняет, но солдаты огрызаются:

— Кто Змеевский полк в нашей дивизии взбунтовал?! — кричит один солдат прямо с места, встав во весь свой тщедушный рост на лавке.

— Кто по своим стрельбу открыл, когда солдаты пошли на позицию?!

Шум, гам, крики, взаимные оскорбления.

По предложению президиума создается комиссия для

расследования. Комиссия немедленно уезжает и уже на другой день делает доклад.

— Да, солдаты правы: эту дивизию (кажется 56-ю) взбунтовала группа шкурников офицеров.

Леванид этот доклад слышит, идеи его о „защите отечества", „воинском звании", опять подхватили, на кафедру вышвырнули и речь держать заставили.

— Товарищи, — говорит Леванид. — Офицеры, особенно младшее офицерство до командира батальона, в бою старшими солдатами должны являться, и только. А старшими в среде воинов всегда храбрейшие должны быть. Поэтому предлагаю: офицеров, не желающих драться, в солдат переводить, а на их место из солдат храбрейших в прапорщики производить.

Съезд ревел, съезд орал „браво", особенно солдаты. Однако проект под благовидным предлогом эсеры и эсдэки, что в президиуме сидели похоронили; нельзя-де в революционное время наказывать званием „солдата" — звание это почетно.

XIV

ФРОНТОВЫЙ СЪЕЗД

Армейский съезд окончился. Делегаты 7-й армии поехали из Бучача в Каменец-Подольск на фронтовый съезд. Ехали на грузовиках по двадцать-тридцать человек на каждом.

Ехать интересно и весело.

Поля, весна, солнце, небо голубое.

Подъехали к границе российской, ведь Бучач—Австрия. Опять потянулись луга зеленые, фольварки белые с крышами красными черепичными, цветов море. Армейский штаб сзади, будто и войны-то никакой нет.

Приехали в Каменец, разместились по общежитиям. Все заготовлено было, мест хватило. Тыл уже привычку имел срочно для раненых тысячу-две коек развертывать.

На утро делегаты по армиям собрались и запомнилась Леваниду картинка: стоит во дворе посреди зеленого луга Борис Савинков, молчит. Вокруг, аршина на четыре, не смея подойти к нему, не смея и заговорить, стоят офицеры. Савинков глаза прикрыл, будто в землю смотрит, а офицеры так на него глаза и пялят. Не могут офицер-

ские души осознать и усвоить: у убийцы его императорского высочества, великого князя Сергея Александровича, в подчинении в прямом оказались.

И тогда же вынесли делегаты 7-й армии резолюцию: по фракциям партийным на съезды не записываться. Савинков слушает, смотрит, но молчит, точно воды в рот набрал.

Выбрали тут же делегатов, кому от какой части выступать на съезде с докладом. Леванида делегатом от корпуса не выбрали. Солдаты за время армейского съезда и за дорогу Леванида и его идеи раскусили и делегатом простейшего капитана артиллериста поставили. Капитану и наказ дали: „Скажи, мол, съезду: драться не за свое дело мы не хотим".

Конечно, Леванид, в мечтаньях пребывая и различные идеи рассматривая, такую простую и верную вещь на съезде никогда не сказал бы.

Съезд заседал в городском театре или в местном дворянском собрании. Только эстрада была и были по бокам той эстрады литерные ложи. Налево от публики — генеральская, командующего фронтом, направо — представителя большевиков.

Ну, опять говорили, только на этот раз познатнее и подольше. Слушали же меньше, начинало надоедать.

Начал генерал Брусилов, командующий юго-западным фронтом:

— На римских галерах свободные и рабы сражались рядом. Но рабов держали прикованными к галере на цепях, а с вас, товарищи солдаты, и с нас, офицеров, цепи теперь сняли. Неужели же, чтобы вас в бой повести, на вас снова цепи надеть надо? Не верю, не хочу верить, а если так, если я ошибаюсь, то я уйду: рабами я командовать не стану.

Солдаты, конечно, „браво, браво", и руки одна о другую в радости колотят. Генерал продолжает:

— Вы, товарищи, конечно думаете: вот-де ему, мне, вашему главнокомандующему то есть, воевать хорошо, легко, от пуль он, да от снарядов с пулеметами далеко сидит, а чины с орденами да денежки загребает. Так ведь, товарищи?

Посмеиваются солдаты, смешок по залу порхает.

— Но, товарищи, — продолжает Брусилов, — что такое

пули? Ерунда пули, вот что... Подо мною в турецкую кампанию лошадь была убита. А вы, вот, об ответственности за ваши жизни, за все дело-то огромное подумайте. Ведь она на мне камнем лежит. Иной раз всю-то ночь лежишь мучаешься, а вдруг тут не досмотрел или тут не додумал? Ведь я по четырнадцать, по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки работаю. Ведь это же не труд, товарищи, это служение, подвижничество, великомученичество. Вам вот в уши нашептали — генералы-де — ваши классовые враги, а вы, солдаты-де, — обездоленный класс, батраки, пролетарии. Не так это, товарищи: никакого классового различия между нами нет. Вы пролетарии, это так, а я, я только первый пролетарий среди вас.

Произнес эту фразу генерал Брусилов и руками углы небольшой кафедры-конторки, у которой стоял, охватил. Лучи солнца через окна верхнего света упали на руки генерала и в глаза Леванида, сидевшего впереди в четвертом ряду, потекли снопы света белого, синего, красного, зеленого, всех цветов радуги.

Это засияли кольца на генеральско-пролетарских руках.

Немногие тот блеск заметить могли, но Леваниду лучи прямо в глаза ударили, и улыбнулся он повадке генераловой — и умно, и сдержанно, и всем приятно.

После Брусилова говорили другие. Много других. Не пересчитаешь, ни имен не запомнишь. Больше все представители от меньшевиков популярные лекции по государственному праву читали, изо всех сил в парламент, говорильню сиречь, играли.

Потом говорили делегаты с фронта от боевых частей, окопники. Одни лучше, другие хуже. Говорили в большинстве искренне, горячо, видно, душа наболела. Многие по основному вопросу, о боеспособности своей части открыто заявляли: нельзя ничего сказать, может, пойдут, может, нет. Леванид эти заявления подсчитывал, их сделало больше половины делегатов.

Сердили эти заявления Леванида, и привычные его идеи на него все больше и больше напирать стали. Напирают и пришпандоривают:

„Отечество, — Леванид мыслит, — в опасности, армию надо реорганизовать, вопрос же в том: как это сделать и хватит ли сил. Они же лепечут: не могим знать“.

Покипел, покипел Леванид, на кафедру вылез и начал выкладывать.

Но только спервоначалу дело-то у него не очень пошло. Как увидел он огромное зало, да две тысячи лиц, поедающих его глазами, да ложу генеральскую налево, а там все знакомые генералы сидят во главе с Брусиловым,— дух у Леванида сперло, и голос пропал. Еле-еле первые слова из горла Леванид выдавил, ну, а потом легче стало, и пошел Леванид и пошел:

— Вы, — говорит, — от солдат требуете, чтобы они как один человек в бой пошли? Так уберите вождей, которым солдаты не верят, которые солдатам ненавистны, которые кровью солдатской зарабатывали себе повышенье и кресты. В первую очередь уберите генералов Ирманова и Каледина, ненавидят их солдаты, и за дело!

Тут солдаты на съезде рев от восторга подняли.

— Разве не известно, — Леванид продолжает, — что генерал Ирманов по протекции на ударные участки свой 3-й Кавказский корпус с фронта на фронт перебрасывает, срывая подвозку очередного пополнения продовольствия, фуража, а также боевого и санитарного снабжения и эвакуацию раненых. Солдат всегда готов драться за родину, за отечество, но только не за генеральские отличия. Только угрозой смерти гонят их в бой за крестами для командующего корпусом. И в 3-м корпусе, я это знаю, царит недовольство не только среди солдат, но и среди офицеров. И все говорят одно и то же: война не геройство, а тяжелая кровавая работа, почему же нас гонят на нее без всякой очереди. И те вожди, которые запятнали себя этой кровавой погоней за наградой, должны быть смещены немедленно. Но кроме больших Ирмановых и Калединых есть много маленьких, их надо тоже сейчас же убрать из армии. Но не только в этом дело. Во главе батальонов, полков, дивизий, а часто и выше, стоят во многих случаях старцы, почтенные сами по себе, но совершенно безграмотные в современном военном деле и фактически неспособные к какой-либо боевой работе. Среди них много гостинных шаркунов, получивших боевые посты по протекции. Их тоже надо уволить. Боевых полковников на дивизии, штабс-капитанов на полки, на батальоны и роты боевых, зарекомендовавших себя младших офицеров и храбрейших солдат. Обновите как можно скорее командный состав,

подтяните его, дайте почувствовать рядовому бойцу, что их жизни находятся в руках людей опытных, понимающих, любящих солдат, бережливо относящихся к солдатской жизни. Сделайте это и только тогда посылайте солдат в бой. Подтяните дисциплину, начав с офицерства, солдаты сами тогда подтянутся. Но делайте это сейчас, иначе смена командного состава произойдет помимо вас. Через четыре-пять месяцев на дивизиях все равно будут полковники... генералы слетят... но власти тогда и у полковников вы не создадите. Они будут бессильны.

Съезд Леваниду овацию устроил дикую, но не весь. Офицерство молчало, у выхода солдаты жали руки, офицеры отворачивались и сторонились.

В парке к Леваниду подошли два-три офицера объясняться, говорили дерзости, предлагали стреляться. Встречая спокойную и любезную готовность дать удовлетворение, указывали на необходимость отложить дуэль до конца войны.

XV

КЕРЕНСКИЙ

Настал на съезде большой день. Военный и морской министр господин Керенский на съезд пожаловал, с министром французским гражданином Тома.

Вошел Керенский через боковую дверь и по центральному проходу между стульями от задних рядов к переднему проследовал.

Одет он был во френч зелено-табачного цвета, галифе, а ноги утиные, желтые-желтые, светлые, и ботинки желтые и краги желтые. И неприятное то в костюме господина министра было, что новенькое все было, с иголочки. И костюм, и ботинки, и краги. Точно прямо из магазина, а волосы щеткой.

Ну а лицо Керенского: лицо бритое.

Влез Керенский на эстраду, поклонился всем, ему похлопали жидко. Сел. Тут же председатель съезда и Керенскому и Томе соответствующие приветствия выразил и слово для доклада предоставил.

Сначала стал говорить Тома, а при нем переводчик. Лицо у переводчика бледное, волосатое, и борода и усы большие и длинные, черные, с подпалинами у концов, как у сеттеров-гордонов.

Открыл это Тома рот да как завопит:

— Камарад! — а сам руки в кулаки сжал и, прижав их сначала к груди, на полную длину вперед выкинул.

— О-з-арм... — а сам руки, не сгибая в локтях, в обе стороны раскинул.

Все так и покатились со смеху. А Тома что дальше, то больше: и вперед нагибается, и назад откидывается, словно на гимнастике мускулы живота и спины развивает. Надулся, красный, как рак, видно, что слюной так и брызжет.

Если бы при Тома переводчик не состоял, всех бы он в лоск уложил и животики солдатские смехом надорвал бы. Но так как речь его с выступлениями переводчика перемежалась, который могильным голосом скучные слова об обороне отечества, долге перед союзниками, а также о необходимости воевать до победного конца говорил, то на время слушатели успокаивались, отходили.

Говорит Тома — в зале хохот, говорит переводчик — успокаиваются.

Кончил Тома.

Овацию ему, миляге, устроили лихую, большую, очень уж он понравился, да и веселость разрядить надо.

Не министр француз, а купец из Замоскворечья, толстый, жирный, борода пушистая и не стриженая, морда добродушная и одет попросту: в черную тройку без желтых краг ярких. Яркие только носки, лиловые, а штиблеты простые черные. Тома к своему месту отошел и сел, а председатель съезда, для демократичности, конечно, — он из солдат был — встал и громким голосом провозгласил.

— Слово предоставляется военному и морскому министру гражданину Александру Федоровичу Керенскому.

В зале приветственный поднялся рев. Как это только реветь перестали, встал гражданин Александр Федорович Керенский, правою рукою за собой стул по краю сцены тащит. Остановился Керенский, стул поставил и ручку свою правую на нем успокоил, а левую на угол стола президиума, что зеленым сукном покрыт был, положил. Стул тот был хороший, черный, гнутый из квадратного дерева, сиденье и спинка из соломенного плетенья.

У самого министра такой вид, будто он только что семи- или десятидневное пьяное бдение с тяжкими трудами любовными окончил.

Рот раскрыл, губами шевелит — ничего не слышно. До Леванида, в четвертом ряду сидящего, долетает:

— Я устал, товарищи, я слишком много говорил (ведь вот, поди ты, уже тогда сам это заметил).

Все притихло.

А потом вдруг сразу гражданин Керенский выпрямился и начал каким-то диким криком из себя в залу слова выбрасывать.

От первых тех слов точно кто теркой железной по внутренностям Леванидовым полоснул. Прослушав два-три десятка фраз, все свои силенки Леванид напрягать стал, чтобы удержаться и не заплакать.

А что собственно министр говорил — неизвестно. Потом бюллетень печатную роздали. Только под конец:

— Я вас спрашиваю, — говорит, — пойдете вы по моему приказу в бой или нет?

Ну тут весь зал, как один человек, заревел: „пойдем, пойдем!“ Иные офицеры до того дошли, что кресты с себя срывать стали и Керенскому через головы впереди сидящих к ногам кидать.

А он, Александр Федорович-то, генерала Брусилова за белую ручку взял, к переду эстрады подвел, знак дал, что говорить хочет и, когда все успокоилось и замолчало, провозгласил:

— Вот, товарищи, ваш вождь, которого я вам назначил!

А потом к генералу Брусилову обернувшись и рукою на собравшихся в зале указывая, добавил:

— Генерал, они пойдут за вами, а если они не пойдут, я заставлю их пойти!

Офицерство и часть солдат Керенскому и тут овацию устроили, только пожиже первой. Леваниду же тогда те слова по сердцу пришлись. Известное дело, в бой под пулеметы итти не груши есть. Без острастки нельзя.

Тут председатель съезда опять поднялся и заявил, что гражданин Керенский и гражданин Тома по срочным делам со съезда отбывают. Бросились их на руки поднимать. А как Леванид около самой сцены находился, то и ему одна нога министра Тома в лиловом носке и обыкновенном ботинке досталась. Ногу эту он на своем правом плече и успокоил. Пока Леванид Тому нес, несколько фраз на французском диалекте ему сказать удостоился, на что и

ответными любезными французскими фразами от Томы около автомобиля награжден был.

Так-то свои союзнические чувства Леваниду в то время выражать приходилось.

Министров проводили, перерыв кончился. Слово представителю большевиков предоставили.

Вышел он на край сцены, сам небольшой, а шашка длинная. На рукоятке руку все время держит.

Стал говорить и по переду сцены взад и вперед гулять.

И говорил он совсем не как Керенский: быстро, толково, ясно, отчетливо, звучно, здоровым голосом, одним словом, красиво — что надо. И голос здоровый, сил человеку не занимать стать.

И так он это хорошо и быстро-быстро большевистскую программу перед всеми развертывал, что когда кончил, то солдатская часть съезда, та самая, что часа полтора-два назад Керенского на руках носила, того Керенского, который всех в наступленье звал и за войну до победного конца говорил, теперь ему, овацию буйную устроила. Хотя и говорил он по сравнению с Керенским все наоборот.

После большевика стали ораторы наступления говорить. Сначала Леванид в их списке значился, но после его, Леванидовой, речи оказался он из списков благонадежных ораторов наступления вычеркнут.

Были-то все ораторы отложенные, да и в наступление им звать приходилось не до речи Керенского, как предполагалось, а после. Речи их от того интерес свой потеряли и, что называется, пережаренными оказались. После них говорить сенатор С. вышел. Как стал он солдат окопных поносить, и трусы-то вы, и шкурники, и предатели, — так все только рты раскрыли, а потом по одному, по одному к двери и вон. Он же всю свою речь до самого конца перед почти пустым залом довел, нимало не смущаясь. Для истории, полагать так надо.

Ушел и Леванид. У входа с двумя приятелями встретился и с ними в ресторан „Бельведер“ ужинать пошел. Однако мест свободных не оказалось, предложили кабинет, за особую плату конечно. Сели ужинать. Скоро к ним в кабинет комиссара Станкевича да делегата от Петросовета Шапиро подвели.

Стали беседовать про окопы и окопников, о фронте

расспрашивать. Сами про Москву с Питером рассказывать. Много ли, мало ли времени прошло, а половой к ним сенатора привел. Пришел сенатор мрачнее тучи, видно, на печонку провал на съезде подействовал.

К Станкевичу и Шапиро обращается:

— Товарищи, можно к вам присоединиться?

Те на Леванида указывают, вот, мол, хозяин. А сенатор, садясь с Леванидом рядом, и к нему спиной воротясь: „не люблю, — говорит, — я с этими Брусиловыми якшаться".

Скоро сенатор Станкевича и Шапиро о речи своей запросил, понравилось ли. Те в ответ деликатно:

— Вы вот лучше делегатов окопников спросите, — на Леванида с товарищами кажут.

Сенатор эдак через плечо, к Леваниду не оборачиваясь, бросил:

— Ну, а вы, что о моей речи, молодые люди, скажете? Пожалуй, ваше мнение интереса не лишено, любопытно послушать.

Озлился Леванид:

— А то я вам, господин сенатор, скажу, что будете таким тоном с окопниками говорить — побьют они вас. Вот что! Поосторожнее будьте, на фронте, в окопах, слушать они вас, господин сенатор, не станут, а побьют. Да.

Как известно, недели через две с сенатором это самое приключилось. Не выдержали окопники тона сенаторского. А Леванид рад был, очень уж своим пониманием „души солдатской" гордился.

XVI

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

Кончился съезд, на руках всем съездом отнесли Брусилова до его дома. Сверху с балкона платочком жена его махала.

Потом делегаты рядами, человек по шесть-семь построившись и подручки взявшись, ходили и революционные песни пели.

И особенно Леваниду один поручик запомнился с усами пушистыми, белыми, шел он через человека от Леванида, крайний, и потому одной свободной рукой размахивал. Припев „Интернационала" выводил он на французском

диалекте, но слово „борьба“ почему-то отчетливо, как русское „лут“ выкрикивал. Был он Тенгинского полка, в котором, как известно, Лермонтов служил. Вот вакансию полкового поэта поручик этот и занимал. В честь Керенского стишки сочинил и очень неплохие. Вот отрывок из них, что Леванид запомнил.

Над нами, как яркое пламя,
В последний решительный час
Колышется красное знамя —
Святыня трудящихся масс.

Товарищи, время не терпит,
Товарищи, время не ждет,
Пусть трусы презренные медлят,
Герои, за нами вперед!

И пока делегаты по городу ходили и „ура“ III Интернационалу орали, всей душой Леванид в радостном ощущеньи могучего массового коллективного подъема купался. И казалось тогда, какая же сила перед восторженной армией революции русской устоит.

XVII

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОЛК

Опять Бучач, Тарнополь, Козово и наконец полк. В полку за долгое Леванидово отсутствие офицерство голову подняло и с места было на Леванида напало.

Комбат прямо заявил:

— Довольно погуляли, молодой человек. Из окопов больше не выпущу, да и все пропущенные дежурства вне очереди заставлю отдежурить.

Конечно, из глупости этой ничего не вышло. Два-три серьезных разговора да нарушение боевого приказа на линии огня со стороны Леванида.

Поскорости произошла попытка украинизации дивизии. Ничего из попытки той не вышло, хоть и вышли встречать украинцев с музыкой. Пополнение пришло в числе восьмисот человек и потребовало, чтобы дивизия переименована была. Из переименования ничего не вышло. Старые солдаты категорически воспротивились переименованию.

Никаких идей по этому поводу у Леванида не было, и потому ничто его не пришпандоривало, ни с кем и по-

ссориться по этому поводу Леваниду не пришлось. Начальство, очевидно, просто заманило солдат на фронт обещанием украинизации. Украинизация сорвалась. Один раз лишь украинцы на Леванида обиделись. Воззвание они писали и не знали как по-украински слово „полк“ произносится.

— Пишите „пилк“.

Леванид так с озорства сказал, ну а как его, Леванида, уважали, то и послушались. На беду при оглашении воззвания на митинге филолог нашелся. Глаза у того филолога на лоб полезли. Пошел он к Леваниду.

— Откуда сие? — вопрошает.

— Это, — Леванид говорит, — я в шутку, на ура сказал, а они, дурачье, и поверили.

А филолог сам украинцем оказался. Им передал. Те поорали маленько и надулись.

XVIII

В ЛЕСУ

Леванид жил теперь в палатке с докторами. Из-за общественной работы он из роты фактически ушел, хотя рота была расквартирована тут же рядом, в лесу. Полк находился в резерве.

Докторская палатка под огромными дубами стояла. Дуб строевой в два-три обхвата, высокий-высокий, красоты необычайной и... каждое дерево перенумеровано.

Блиндажи с того дуба выходили первостатейные, никакой снаряд не прошибал. Вот под этими-то дубами и проводил Леванид часы отдыха.

У докторов на столбиках возле палатки стол слажен был. На столбиках вокруг него лавочки. Одним словом, что твои Сокольники или трактир с садом под Москвою в Царицыно-дачном или Лосиноостровской. Берез только не хватало, да дубы не в пример грандиознее были.

Лошадь у старшего доктора была, „Карагез“. Конь чудный донской, ярко-рыжий. На дивизионных офицерских скачках всегда доктор одним из первых был. „Карагеза“ он купил за на-чай, за два рубля, случайно. Конь копыто расколол, а казак его из жалости пристрелить хотел. Доктор мимо ехал, коня от смерти спас. На казенный овес поставил на полтора года. Больную ногу лечить

стал, специальный сапог кожаный сшил. Зажило копыто, а конь доктора всей душой полюбил и на зов его или на свист всюду прибегал. За обедом или за чаем лошадь эта кругом стола, бывало, ходит и мордой в плечо тычет. Хлеба или сахару просит. Что — твоя собака.

Так и жил Леванид на даче.

Только вот раз ночью, часу в первом — уже доктора и Леванид в кровати улеглись — слышно стало вдруг идут на палатку много-много людей. Со всех сторон палатку окружают. Вскочил Леванид, стал брюки натягивать, в это время в палатку, откидную полу приподнявши, два солдата шасть:

— Прапорщик Леванид, мы к вам.

— В чем дело?

— А так, что 1-й батальон постановил вас охранять. Офицеры вас убить порешили. Мы сюда все и пришли.

Засмеялся Леванид:

— Идите спать, — говорит. А самому немножко жутко стало. В лесу в человека пулю засадить не так-то трудно, а на войне к этому делу попривыкли.

— Никак нет, прапорщик Леванид, — унтерцер ему отвечает, — это всурьез: вот здесь три денщика, они все слышали и знают. Они слышали, как вас подстрелить собираются, когда вы завтра вторую линию окопов осматривать будете. С тысячи шагов из винтовки хлопнут, там ищи в окопах.

— Хорошо, — Леванид говорит, — завтра заявление в полковой комитет подайте, а сегодня идите спать.

— Не уйдем, господин прапорщик.

— Ну так, как председатель полкового комитета, я вам приказываю. Чего вы, товарищи, раньше дела скандал учинить хотите!

Ушли.

На утро пошла катавасия. Заявление, расследование.

Выяснилось, что с пьяну то дело было и пришлось одного офицера в другой полк заставить уйти. Двух других солдаты за боевых почитали, а так как бой был уже близок, то их по просьбе Леванидовой легко простили.

Не понимал Леванид, чего собственно, офицерам от него надо. Он ли силы свои на поддержание боеспособности полка жалел? Он ли за отечество биться не призывал?

XIX

ЛЕВАНИД ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЛК С НАСТУПЛЕНИЕМ

Прошло дня два. Как-то утром проходил Леванид мимо блиндажа командира полка. В окошке голову командира полка увидел. Голова ему закивала и сейчас же сам полковник на пороге показался и немедленно Леванида окликнул. Однако и окликал Леванида и вел себя господин полковник весьма таинственно, даже воровато.

Леванид заинтересовался в чем дело и хотел было в блиндаж итти, для чего по ступенькам, их пять-шесть было, быстренько вниз спускаться стал.

Однако же Леванид только на господина полковника налетел, так как в расчете своем ошибся: полковник никакого желания в блиндаж входить не проявлял.

Наоборот, с неожиданной кротостью обе руки Леваниду в грудь упер и всей внешностью просьбу остановиться и молчать изобразил, чем Леванида у входа в землянку и задержал. Тут же, в кармане кителя порывшись, небольшой конверт с печатью сургучной вытащил и Леваниду его к самому лицу поднес.

— Понимаете?..

— Понимаю.

Ясно было: пакет — приказ о наступлении.

— Голубчик вы мой, что же мне теперь делать, как я солдатам о наступлении скажу? Я и в штабе ни одной душе не говорил. А этот конверт в большой был вложен с картами, его никто не видел. Кроме меня во всем полку вы первый. Здесь нас никто не слышет. Скажите, милый, что же нам делать?

Действительно, местечко было укромное: толстая тяжелая дверь блиндажа с одной стороны, и окопчик, который к ней подводил, с другой.

— Дайте письмо мне и никому не говорите ни слова. Я сейчас соберу митинг и поздравлю солдат с наступлением — пока никто ничего не знает. Предоставьте все мне. Как председатель полкового комитета, беру ответственность всю на себя.

Моментально полковник Леванидову просьбу исполнил. И любопытно, как по лицу полковника сразу несколько мыслей пробежало: сначала радость, что огромная ответ-

ственность снята с него, потом на секунду злорадство: уж и влопаешься же ты, брат, а потом установилось грустное сожаление: эх, все равно у нас с тобой ничего не выйдет!

Леванид же, на каблуках повернувшись, рысью из окопца вылетел и к соучастникам своим побежал. На ходу уже надлежащего члена полкового комитета встретил, экстренный полковой митинг собрать приказал. А пока солдаты бросали карты, гармонику, качели или попросту, ото сна просыпаясь, глаза протирали, а потом, оправляя одежду, собирались на митинг, Леванид срочно успех подготовлял.

Быстрота и эффектность — больше ничего. Главное — не допускать дискуссии. Прения все погубят.

Потому тайну великую только двоим он открыл. Старшему врачу, взяв с него слово молчать, ему не открыть было нельзя, слишком влиятельный человек был и, по необходимости, капельмейстеру полкового оркестра. Тот, собственно, сам сразу догадался, а услуга его необходима была.

И еще подбегали солдаты к митинговой толпе, как уже Леванид с недоумевающим полковым комитетом на трибуну взобрался, а под трибуной, сбоку, полковой оркестр в полном составе.

Как только молчание водворилось Леванид торжественным голосом зарычал:

— Товарищи, от имени комиссара 7-й армии Бориса Савинкова, поздравляю вас с наступлением! Ура!

И тут же, сию же секунду, раздались „торжественные, волнующие душу“ звуки “Марсельезы“. Они сразу вызвали бурю, крики „ура“ превратились в рев. А когда оркестр трижды проиграл „Марсельезу“, Леванид объявил митинг закрытым.

Кто-то из комитетчиков, кажется один из докторов, речь говорить пытался, но Леванид его с трибуны спихнул и внизу „выразительным мужским словом“ успокоил, иначе говоря, ораторский пыл докторский в личную ругань перевел. Опешенные неожиданностью, солдаты разбрелись. И сейчас же вновь еще веселее заиграла гармоника, еще выше закачались качели. День был светлый, ясный, солнечный: море каждому было по колени.

XX

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К БОЮ

В ту же ночь полк на позицию перевели, и дело боем всерьез запахло. Приказание новый, уже третий, считая за полтора месяца, начальник дивизии по полкам разослал: два раза в день председатели полковых комитетов о настроении солдат телефонограммами сообщать должны. Для составления же ответа председатели полкового комитета два раза в день через командиров рот и ротные комитеты солдат опрашивать должны: согласны они в бой итти или не согласны.

Опять все председатели полковых комитетов молчат, а Леванида его идеи пришпандоривают, и отечество-то, мол, защищать надо и честь революционного оружия не посрамить, а главное еще то — глупых людей терпеть не мог Леванид, а тут такой приказ поистине „адиётский" к выполнению получил. Ведь чего уже умнее надо придумать, человека перед самым боем два раза в день спрашивать:

— А ты, дорогой, завтра или там послезавтра под пулеметы путешествовать совершенно добровольно желаешь?

А известно, что телефонная связь на позиции вместо газеты служит, а потому всякий разговор сейчас по всему полку, а то даже путем индукции и по дивизии известен будет. Хорошенькое впечатление на солдат сообщение, подслушанное по телефону, произведет: „Честь имею доложить вашему высокопревосходительству, такой-то полк в бой итти не хочет", или „пять рот хотят, а четыре — нет".

Поэтому Леванида идеи его как каленым железом прижгли, и полетел он на лошадке в штаб дивизии.

Приехал.

Новый начдив его тут же принял:

— В чем дело? — говорит.

Смотрит Леванид — не генерал, а картинка: китель, погоны, брюки со штрипками, все с иголочки, а штиблеты военного образца на тонкой подошве и самой тонкой кожи. А лампасы на генеральских на брюках прямо не лампасы, а так сказать, столбы огненные. Духи тоже самые генеральские. Благовоспитанность из каждого движения, из каждого жеста так и сочится.

А лицо у генерала розовенькое, пожилое, но бодренькое, свеженькое, самое незначительное, но все же не без красивости, прямо бы на сцену Московского Художественного театра на роль генерала из мышиных жеребчиков.

Одним словом, начальник дивизии как начальник дивизии, но на месте был бы он лишь в губерниях Пермской, Вологодской, Астраханской или в Сибири или в Туркестанском крае; во всех же других губерниях, что к фронту ближе, явно не на месте. В сельце же Телятино, что под Козовой, от самой боевой линии в трех верстах — невозможен до отказу. Не начдив, а шаркун гостиный.

Ко времени встречи с этим начдивом субординация воинская с Леванида пососкочила, идеи же его попрежнему, если не сильнее прежнего, пришпандоривали. Соколом он на генерала налетел, чем все дело сразу и испортил: сначала генерал испугался, а потом кровь ему к голове прилила. Выпрямился, по службе встал, да как заорет:

— Забываться, прапорщик, изволите? Не вы генерал, а я. Приедете еще раз, не забывайте об этом. Приказ мой исполнять потрудитесь.

— Не в том дело кто из нас генерал, — Леванид ему в ответ, — я кроме того, что прапорщик, еще и дивизионного комитета председатель, и приказ ваш по этой линии отменю. На том и расстались. Приказ, конечно, отменен был.

XXI

О ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ СВОЮ И ЧУЖУЮ

Был в полку доктор Белоруссов, малый славный и горячий, и его тоже различные идеи, совсем как Леванида, пришпандоривали. Только то в нем неприятно было, что чуть заспорит, сейчас на личную почву переезжает. Был он тоже членом полкового комитета с самого начала и часто у него с Леванидом схватки и перепалки бывали. Разругаются, а потом ничего, помирятся. Тут на комитете вопрос большой стал: из дивизии приказ получили — трех членов полкового комитета для дежурства во время боя при центральных эвакуационно-санитарных пунктах избрать и в штаб дивизии немедленно откомандировать.

Ясное дело, избраннику белый билет, от боя освобожденье. Дело горячее, самое что ни на есть горячее. Шкурное.

И столкнулись тут на заседании полкового комитета две идеи: Одна Леванидова, другая того доктора — Белоруссова. Обоих они это пришпандорили, разогрели и друг на дружку бросили. Так и наскакивает на Леванида доктор Белоруссов.

Комитет заседал под открытым небом, в ложбинке под холмом, на вершинке которого наша первая линия шла. Тут же направо входы в блиндаж полкового штаба и в блиндаж перевязочного пункта находились. В перевязочном блиндаже офицерство головы себе брило. Такой в Левонидовом полку был обычай: перед боем наголо голову брить.

Несколько офицеров обычаем этим пренебрегли. Одному из них на другой день рваную поверхностную рану на голове получить привелось. Уж и намучился он с волосатой рваной кожей.

Леванид тоже обрился. Остальные офицеры кругом стояли. Делать было нечего и тем, что уже побрились, и тем, что в очереди стояли. Брили сразу двоих.

Началось заседание.

Белоруссова та идея пришпандоривает, что вот-де в группу четырнадцати смертников (четырнадцать — число членов полкового комитета было) три верных жребия на спасенье от смерти выпали. Жеребьевкой этот вопрос решать надо. Никто-де у человека последнего шанса на жизнь рассуждениями и умствованиями отнимать не должен.

Леванида же та идея ужалила, что со всеми его другими идеями в согласовании находилась. А потому жалила она нестерпимо и Леванида в раж моментально привела:

— Мы, — Леванид ораторствовать начал,—организаторы наступления и не время сейчас о смерти помышлять. Считайте себя уже убитыми и успокойтесь, тогда все, что меньше — выигрыш, и завтра игра у нас с вами беспроигрышная. Наш долг с солдатами быть, так как мы тех солдат под пули итти уговорили. Посылка представителя полкового комитета в тыл на эвакуацию раненых — вопрос технический, по началам целесообразности разрешать предлагаю: в первую очередь тех туда пошлем, кто завтра в бою все равно участвовать не должен, а таких у нас двое есть — писарь полковой и один из полкового обоза. Третьим механика из пулеметной команды пошлем, он уже легко ранен и в дело завтра итти не сможет. Жеребьевку же я,—

Леванид, идеями подогреваемый, продолжает, — подлостью почитаю и участия в ней, заранее говорю, принимать не буду.

— Подлости в жеребьевке нет, — Белоруссов кричит, — но раз Леванид отказывается, я тоже отказываюсь.

Ну, ему остальные:

— Что же вы, господин доктор, хотите, чтобы мы в подлости в этой одни участие принимали?

Вот как две идеи двух человек, доктора и Леванида, ужалили, пришпандоривши, столкнули и вот как люди, жизнь свою на карту ставя, лучшую и благороднейшую из двух идей выбрали.

XXII

КАНУН БОЯ. О РЕЛИГИИ

Наступил канун боя 17 июня 1917 года. В тот день Леваниду видеть довелось, что религиозные идеи солдат русских, даже в час смертный, уже не пришпандоривают. Полк Леванидов и еще два полка в щелях на-время до атаки расположены были. Щель — это очень глубокий, аршина три-четыре, окоп, в который перед боем резервы прячут, чтобы их от массового поражения шрапнелью или в воздухе на мелкие кусочки рвущимися бризантными снарядами уберечь. В щели солдат на дне либо лежит, либо сидит, и в него только сверху попасть можно. Вот почему всегда продольный обстрел щелей и страшен. Еще прямого попадания большого снаряда щель боится. Малый снаряд в щели больше двух-трех человек из строя не выведет, разве что особо удачно попадет.

Щели, о которых идет речь, были вырыты полукругами одна ниже другой, по крутому вогнутому склону холма в мертвом пространстве, т. е. в пространстве, куда снаряды противника при самой крутой линии полета попадать не могли — гребень холма мешал.

Внизу того полукруглого амфитеатра площадка была, и за двое суток немецкого ураганного контр-обстрела ни один снаряд на нее не упал, значит тоже местечко безопасное. Солдаты все время на дне щелей сидели и в карты играли, либо балакали. Почва была меловая, солдаты были поэтому белы, как рабочие с лабаза или с мельницы.

В часы обстрела, а немцы вели обстрел с перерывами,

над головами с воем неслись снаряды, сотни снарядов, и наверное тысячи. Они рвались на холмах напротив щелей за рекой Жолнувкой, вздымая красивые черные столбы земли и дыма с белыми, зелеными, изредка красными венчиками газов. Часто даже днем были видны огненные вспышки разрывов. Снаряды калечили дубовый лес, в котором раньше жил Леванид, а теперь стояла тяжелая русская артиллерия. Они срывали ветки, обламывали мощные суки, но великаны-дубы стояли и не падали.

Главной целью немцев была вторая наша линия, но там не было ни одного солдата и никто не предполагал ее защищать. Эта линия, вернее укрепленная полоса, была выстроена трудами второго, из угнанных при Леваниде начдивов, на покатом склоне холма, расположенного лицом к немцам. И там почва была меловая, почему линии окопов и соединительных ходов были, как на карте, обведены мелом. За постройку этой укрепленной полосы и сменили того начдива.

Ну и садили немцы из тяжелых по тем пустым окопам. Садили с немецкой добросовестностью, во славу фатерланда и своего немецкого бога. Русские из своих щелей безопасных на то, как на „шпектакель", смотрели и за животики иногда хватались, когда немец в пустую канаву подряд три-четыре очереди по четыре штуки тяжелых засаживал. Но немец туда не только чемоданы тратил, летали и „вагончики", это на двенадцать дюймов.

Часам к шести вечера немцы занятие это прикончили.

Тишина воцарилась.

Глядят солдаты, а низом, скок-скок, полковой поп пробирается. За ним аналой и подсвечник на ножке серебряной, евангелие, покров для аналоя, миску с водой и метелку для кропления тащут. Пришли на площадку внизу и все к одной стороне в должном порядке установили. Сейчас же с других полков, что в этих же щелях стояли, еще два попа на лужок спустились и молебствие соборне служить начали.

Ну, в щелях об этом оповестили, да и сами солдаты все видят. Затишьем пользуясь, из щелей они повылезли и на краях расселись, молиться, однако, не пошли:

— Разве, говорят, попы молебствие о смягчении сердец пулеметовых, что крошить нас завтра будут, затеют.

Ну так вот, с трех полков, т. е. на худой конец с семи тысяч человек, разве сорок пять вниз к попам спустилось.

Внизу молебствие идет, а они себе в карты играют да ругаются последними словами, и это накануне боя и после двухдневного сидения в щелях, под дикий вой летящих снарядов, под грохот канонады своей и немецкой и под грохот, треск и свист бесчисленных разрывов.

XXIII

КАНУН БОЯ. ОПЯТЬ НАЧДИВ И САВИНКОВ

Только молебствие к концу подошло, из боковой поперечной ложбинки два странничка выходят, у одного за спиной мешочек и в руках палочка, мундир на нем военный, а брюки длинные со штрипками и с лампасами, а лампасы те на брюках, как столбы огненные. Другой в штатском. Подошли поближе. Леванид их в бинокль узнал: начдив, что из мышиных жеребчиков, и с ним рядом Борис Савинков. Ну, значит, Леванид рысью к ним.

— Соберите, — говорят, — полк.

— Опасно, — говорит Леванид.

— Какая может быть опасность, я приказываю, — начдив говорит.

Поорали, поорали Леванид с начдивом, поспорили, полк он-от и сам сбежался в ложбинку.

Начдив с Савинковым на камушке стоят, Леванид напротив на другом. Только это начдив рот раскрыл, говорить хотел, трах над головами треск и грохот невыносимейший раздался. Это из-за ближайшего гребня холма немецкие аэропланы вылетели и низко-низко над солдатской толпой полетели. Так низко, что лица, усы и цвет волос у летчиков рассмотреть было можно.

Летят это немцы и высматривают, что это русские с ума посходили и свои силы перед самым боем на полном просторе всем показывают. Так низко летят, что за колесо аэроплан ухватить хочется.

Гусем штук шесть аэропланов пролетело и только. А у тех, что на митинг пришли, даже винтовок не было, со стороны кто-то пострелял, мимо конечно.

Ну, начдив опять начал было:

— Товарищи, отечество в опасности, еще раз последний спрашиваю я вас, согласны ли вы?..

В глазах у Леванида потемнело, идеи его уже не то что пришпандоривали, а скрутили, въелись в него и из него один

штопор сделали, каковой штопор прямо в генерала словами острыми и воткнулся:

— Господин генерал! — Леванид рявкнул, — вы имели уже на эту тему беседу со мною и даже не один раз. Я представитель полка, которого, как в дивизии хорошо известно, солдаты любят и которому солдаты верят. Я имел честь говорить вам, что полк наш в бой итти согласен, чего вам еще? Что же сейчас смущать солдат вопросами глупыми пришли?.. Товарищ комиссар, — Леванид продолжает, — наш полк не из детей состоит, чтобы такие вопросы по два раза перерешать, да и шаркунов гостиных в нем до сих пор не встречалось. (Тут генерал взгляд на Леванида бросил — намек-де, значит, твой уразумел.) От имени полка в присутствии всех солдат я, бессменный член президиума, а ныне председатель полкового комитета, заявляю вам: если революционное правительство в согласии с Советами рабочих и солдатских депутатов говорит, что в бой итти надо, мы все как один человек пойдем, но от глупых вопросов, товарищ комиссар, должны вы нас избавить.

Краешком рта едко улыбнувшись и на уничтоженного генерала взгляд кинувши, начал Савинков речь. Сказал, что он сам вопроса такого таким солдатам не задал бы, ибо и по глазам геройство перед ним стоящих бойцов видит:

— Вы завтра идете на подвиг, — говорил Савинков, — но идете большой семьей, товарищи, на вас смотрит вся страна. А я расскажу вам, как мы, старые революционеры, при царе на смерть ходили в одиночку при враждебном отношении к нам не только со стороны богатых классов, но даже и со стороны простого темного народа, считавшего царя своим заступником.

И стал рассказывать о казни великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора.

Кончил.

Начдив с полком простился, и путнички пошли дальше. Савинков крупным твердым шагом, генерал тросточкой помахивая и новым альпензаком на спине сияя. И за поворотом дороги у первого выступа холма скрылись.

Немало тот генерал Леванида поразил: все-то он полки обошел, по меловым холмам лазил и всего не меньше как четыре-пять верст отмахал, а на штиблетах, что военного образца из тонкой кожи и на тонкой подошве были, хотя бы пылинка одна, хотя бы царапина одна появилась. Ну да вся-

кому свое: кому в боях командовать дано, кому по меловым холмам порхать и штиблеты из тонкой кожи на тонкой подметке от пыли охранять.

Побрел Леванид в штаб полка о странничках чудесных рассказать. Штаб полковой от щелей в полуверсте расположен был. Пришел, обедать сел и полковнику сказ недолгий свой выложил.

Чернее тучи полковник стал:

— Вот такие-то щелкоперы хуже всякого большевика армию разлагают. Ох, как бы беды с тех разговоров не вышло. Ведь кажется все наладили, нет, накося-выкуси.....: „В последний раз спрашиваю вас, граждане, заутро ложиться под нож хотите“ — каково-с?

На том разговор не кончился.

— Не лежит у меня за завтрашний день сердце спокойно, — полковник опять начал. — Ежели бы вы, прапорщик Леванид, в первой волне с полком пошли, лучше бы было.

Леванид на то:

— Я уже это 1-му батальону предлагал, однако меня солдаты беречь желают, а офицерство говорит: „Мы и без вас со своими солдатами справимся“. Все же прошу я вас, господин полковник, разрешите мне, буде понадобится, любого младшего офицера из 1-го батальона в 3-й на свое место непосредственно моим приказом перевести, для того командиров 1-го и 3-го батальонов предупредите.

— Ну, пусть будет по-вашему, — говорит полковник.

Леванид в свой блиндаж пошел, что у самых щелей был, и спать лег, а когда он ложился, ему кто-то из офицеров — блиндаж большой был, на девятнадцать человек — и говорит:

— А только с того генеральского вопроса большие разговоры пошли: карты солдаты побросали и все шушукаются.

— А ну их всех к такой-то матери, — Леванид в ответ, — до завтра не взбунтуются, а воевать под такой командой все равно нельзя. Изрек и заснул.

XXIV

КАНУН БОЯ. ОТКАЗ 1-го БАТАЛЬОНА ОТ УЧАСТИЯ В БОЮ

Спит Леванид и во сне по берегу реки Учи, что у Пушкино под Москвою течет, гуляет.

Только вдруг кто-то его за ногу хвать и в реку тащит, вода холодная-холодная.

Проснулся Леванид, смотрит, а это денщик командира полка его будит и с ног одеяло сбросил.

— Сколько времени? — Леванид спрашивает.

— Девять часов, двадцать один час по-новому, — денщик отвечает.

Встал Леванид, встряхнулся, рукой по бритой голове провел и в штаб пошел.

— Ну, так и есть! — Полковник его встречает. — Уже и плоды посещения начальства налицо. Читайте, — и сам Леваниду в руки бумажку подает. Бумажка — листок из полевой книжки, на листке рапорт командира 1-го батальона написан:

„Настоящим доношу, что солдаты вверенного мне батальона через представителей ротных комитетов меня известили, что завтра в бой они не пойдут, потому ответственность за боевую работу вверенного мне батальона нести не могу".

На обороте листка рукой полковника было написано:

„Председателю полкового комитета, прапорщику Леваниду: предлагаю уладить. Командир 293-го пехотного Ижорского полка".

— Я хотел вам записку с денщиком послать, — добавляет полковник, — а потом рассудил — лучше этого рапорта комбата пока что лишним людям не показывать. — Прочитайте и это, — полковник говорит и еще Леваниду бумажку протягивает.

Бумажка — новое постановление объединенного заседания ротных комитетов 1-го батальона, значилось в ней:

„Мы — не предатели родины, мы только за очередь. В прорывах 1916 года 1-й батальон всегда первым шел. В этом бою по справедливости в первой линии 2-й батальон итти должен".

— Ну, уладьте, голубчик, — говорит полковник, — ну что вам стоит? — и опять голос полковника ласково зазвучал, как в тот раз, когда не знал он, что ему с приказом о наступлении делать.

— Что же, — говорит Леванид, — попробую, но не больно легкое это дело. Комитет полковой созвать надо.

— Уже созван, — полковник отвечает.

— Так идемте.

Пошли.

Комитет в блиндаже перевязочного пункта собрался, в отделении, куда временно тяжело раненых относить должны были. На следующее утро, часам к двенадцати, блиндаж этот весь был завален свежеперекалеченными людьми.

Комитет полковой в полном составе собрался. Открыл Леванид заседание:

— Известно ли, — говорит, — зачем собрались?

Оказалось уже всем известно — представители 1-го батальона рассказали, и все в один голос:

— На вас, прапорщик Леванид, одна надежда, — и добавляют тут же: — только что и делать не знаем, ведь о перемене мест 1-го и 2-го батальонов в настоящую минуту и думать нечего. Участок 1-го батальона под самым Утюгом. До немецких окопов, сами знаете, стояли там, только шестьдесят шагов, а теперь немец тяжелыми так все по участку и по ближайшему тылу кроет... Или вы, прапорщик Леванид, или никто. Говорите, что делать, — как один человек исполним.

— А соседний батальон заамурцев, — тут же кто-то сообщает, — уже винтовки побросал и в тыл ушел, но только один батальон, остальные остались.

И опять тут та же история произошла, что с Леванидом в трудные моменты жизни приключалось:

Леваниду бы на все смотреть попросту, по-хорошему: в результате посещения начальника дивизии полк взбунтовался. Итти в 1-й батальон нельзя — расстояние пятьсот шагов, и в данный момент вся площадь под ураганным огнем тяжелым. Дело безнадежно, вина не наша, и не пришлось бы завтра никому в бой итти; заамурцы ушли, наши присоединились, остальные, как пить дать, поддержат...

Ан, нет.

Идеи любимые в голове Леванидовой вертятся, и нето что царапают или пришпандоривают, а прямо как в тиски зажали. Леванид себя как из одного куска камня высеченным чувствует. Знает Леванид, все на него смотрят. От одного слова его зависит, либо Леваниду Леванидом

с идеями остаться, либо начать попросту жить, как все, стоящие перед ним — безо всяких, значит это, идей. Ну и идеи, в Леваниде сидящие, это чувствуют, либо пан, либо пропал, и ни на минуту своего стягивания и пришпандоривания не останавливают.

Помолчал Леванид, помолчал, чтобы время выиграть, а потом и говорит:

— Слушаться будете?

— Все как один человек! — хором комитет отвечает.

А старший доктор, что хорошо на лошади верхом ездит, к Леваниду наклонился и на ухо на немецком диалекте насмешливо шепчет:

— Наступает теперь минута, когда некой обезьяне прыгать в холодную воду приходится.

Даже виду Леванид не подал, что насмешку дружескую услышал, так это его идеи в руках держали и так это величественность момента он сознавал и за „отечество революционное" кровь свою проливать стремился.

Помолчал опять Леванид и говорит:

— Коли так, коли слушаться обещали, то вот что я нахожу нужным: делегация в составе меня, старшего врача и товарищей Ильина и Жукова пойдет сейчас же на место и солдат уговорит.

— Зачем старшего врача? — говорит полковник.

— Нужным нахожу, — Леванид отвечает, — обещали слушаться, ну и слушайтесь...

— Я готов, — говорит врач.

— Возьмите винтовки, товарищи, — Леванид Жукову и Ильину бросил.

Им сейчас же винтовки санитары достали, свои они из роты не захватили. Оба солдатами были, унтерцер и ефрейтор.

— Зарядите винтовки, — Леванид приказал.

XXV

КАНУН БОЯ. „УГОВОРИЛ"

Пошла делегация.

— И не одна, а две обезьяны в холодную воду лезут, четыре, вернее, — Леванид доктору шепчет, — да не в холодную, а в горячую.

Доктор смеется.

Только как за первый гребень холма вышли и на участок 1-го батальона вступили, не до смеху стало. Шестидюймовые так очередями и ложатся, не поймешь как и куда итти.

Перебежками, прыжками, кланяясь, падая на землю и вскакивая, побежали товарищи делегаты в гору к первой линии к участку второй роты.

Полтора месяца, март и полапреля, стоял на этом самом участке окопов Леванид, в мелких боишках ночных участвовал, думал, что каждый камень, каждый выступ ему известен, ан, глядит и ничего не узнает. Одни воронки, штука к штуке. Туда-сюда делегаты бросаются, не всегда слышно и видно друг друга. Разрывы непрерывно следуют друг за другом то близкие, то дальние, и в воздухе непрерывный вой и визг осколков, тонкий-тонкий и очень пронзительный:

— Взузиинннннууууиивзззз!..

А доктор, как всегда, в белой рубахе, на версту видно. А до немецкой линии ближайшей шагов шестьдесят-сто...

Наконец прыгнули делегаты в первую линию, но что от нее осталось, от удобнейшего, плетенкой обделанного окопа?! Кругом ни души, да и понять нельзя, как тут уцелеть-то хоть одной душе можно.

— Надо думать в лисью нору укрылись, — Леванид говорит.

Пошли перебежками к норе. Собственно, то не нора была, а начало галлереи, которую для горна вели. Горн — это подкоп под противника, конец которого забивают динамитом, а потом динамит взрывают. Такой недостроенный горн на счастье солдатское на том участке имелся, в него и забилась рота, около ста пятидесяти человек.

Заглянул Леванид в галлерею, она круто так под уклон шла: сидят люди, на согнутое колено голову опустили. Ног поперек галлереи не протянешь.

Свечи то тут, то там мерцают. Да и низкая та галлерея, на полный рост не встанешь, и не только что Леваниду, а и малому человеку нагибаться в ней приходится. Леванид же роста хорошего был.

Подошел командир роты с младшим офицером:

— Побеседуйте, — говорит, — с ротой, прапорщик Леванид, может успокоятся и в бой согласятся итти.

— Побеседую, — Леванид отвечает, — а сам думает, от разрывов беспрестанных содрогаясь: „Н-да, самая подходящая обстановочка для беседы. Вот бы для талантов гражданина Керенского применение. Это тебе не московский Большой театр, или там зал дворянского собрания в Каменец-Подольске. Тут как-то по-другому действовать придется, но только вот как?“

Попробовал Леванид говорить, да разве в такую трубу, наполненную влажным спертым воздухом и телами дышащими, прокричишь? К тому же передние скучились, все отверстие галлереи закрыли головами, до задних-то и слова совсем не доходят. Только и слышно как сзади кричат: „Товарищи, нам не слышно!“

Замолчал Леванид.

Что делать?

И видит Леванид — загомозились солдаты чего-то, потом передние расступились и наперед ротных делегатов и еще четырех человек из галлереи выпихнули.

Последние четыре все старшие унтерцеры, а нашивки у них черные, значит недавно прибыли из тыла. Да и не знает их Леванид. А старший унтерцер в полку — персона, без малого всех старших унтерцеров своего полка коротко знает Леванид.

— Это из присланных полицейских, — Жуков Леваниду на ухо шепчет.

— В чем дело, товарищи? — говорит Леванид.

— А вот в чем, — один из членов ротного комитета говорит, — постановила рота: убеди этих четырех человек, ну тогда вся рота и пойдет, согласен?

Так прямо на „ты“, чувствуя момент и свою силу, Леваниду в лицо и режет.

— Согласен, — Леванид говорит, — и тут уж нето что идеи его пришпандорили, а озлился он, инда света не взвидел, на тех полицейских глядючи. Согласен, — повторяет, — идемте, товарищи.

— Куда?

— А уж это, — говорит Леванид, — мое дело, не на людях же с вами говорить будем.

Те было протестовать стали, да спасибо очередь тяжелых так близко разорвалась, что все в нору отскочили, а Леванид со своими товарищами тех четырех полицейских от входа в нору отгородили.

— По этому ходу сообщения, прямо перед собой, шагом маарш! — рявкает Леванид, — некогда тут разговаривать, — добавляет он сквозь зубы злобно-злобно, а сам наган из кобуры достал и за ними идет. Остальные делегаты за Леванидом следом.

Только тут, идя по ходу сообщения в минуту затишья, — стрельба и разрывы минуты на полторы смолкли, — понял Леванид, почему он и другие товарищи делегаты так легко и быстро передвигались.

Луница была — во всю рожу.

Ночь чудная весенняя, теплая.

Леванид окопы знал, и гнездо пустое бомбометное хоть и с трудом, но нашел. Городовых остановил, дав им сначала вперед пройти.

— Один со мной беседовать пойдет, а остальные пусть тут стоят, и чтобы не разговаривали. Вы, товарищ Жуков, при них на манер часового встанете. Винтовка заряжена?

— Так точно, господин прапорщик.

— Понятно?

— Да.

— Ну-с, а вы, товарищ, с нами сюда пожалуйте, — и показывает городовому дорогу в гнездо бомбометное. Показывает рукою и следом сам за ним с доктором и с Ильиным, который тоже с винтовкой идет. Наган Леванид в кобуру спрятал.

Эх, и зачем тут только Леванид идей своих не скрутил и пришпандоривания не приостановил!

Уговорить полицейских все равно нельзя, погулял бы Леванид с товарищами ночку по воронкам, и делу конец.

Какое тут! Зубы у Леванида стиснуты, весь, как литой.

Как он этого скота уломает, не знает Леванид, но что уломает обязательно, в том не сомневается. А городовой глядит назад через плечо на Леванида и видит: идет за ним длинный голенастый прапорщик, безусый, рыжеватый, совсем мальчик. „Ну, — думает городовой, — не таких осаживали".

Вошли в гнездо.

Гнездо бомбометное простую яму глубиной аршина в два с половиной представляло, со скошенными слегка стенками, четыре на три аршина площадью. Приложился это городовой к стенке левым локтем, а другой рукой в карман

за табаком полез и к Леваниду небрежно обратился, осмелел, видно, за время ходьбы:

— Ну, ваше благородие, простите за старое величание, выкладывайте свой резонт, только наперед говорю тебе...

— Встать по службе, сволочь ты этакая, мать твою мать, мать, мать!.. — заревел Леванид, себя от бешенства не помня, и наган в грудь городового упер. Того точно ожгло.

— Понимзешь ли ты... мать твою так и эдак, а потом снова так и так — кто я такой, знаешь ли ты, гадина и прохвост, с кем ты говоришь?

— Так точно, ваше высокоблагородие, понимаю.

— А знаешь ли ты, что вот тут еще старший врач полка стоит и еще один член комитета полкового, знаешь.....?

— Точно так, знаю.

— Так понимаешь ли ты,..... что если я тебя сейчас застрелю, а они покажут, что ты пулей случайно убит, то за то мне при всех и после всех революций ничего не будет?

Дрожать городовой начал: „Точно так, — говорит, — понимаю".

— Так согласен ты,..... так и эдак, завтра в бой за революцию и свободу итти?

— Так точно, ваше высокоблагородие, согласен.

Тут Леванид к трем остальным вышел.

— Товарищи, товарищ ваш согласен, ну, а вы как?

— Да только быть этого не может, чтобы он согласился, — говорит один из трех.

— Так точно, — первый городовой заявляет, — я согласен.

— Ну, как он, так и мы. Значит согласны.

— Идем тогда к роте.

С этого момента не одни идеи Леванида пришпандоривали. Удача улыбнулась ему. Почти безнадежное дело оказалось выигранным, а к этому делу он даже и не представлял как и приступиться. Леванид почувствовал, что сразу вырос в глазах товарищей по делегации. Он чувствовал, что до этого момента они шли за ним неохотно, вполне уверенные в неуспехе. Самые понуренные фигуры их казалось говорили Леваниду: ничего-то на этот раз у тебя, голубчик, не выйдет, зря таскаемся. И вдруг кривая подвезла и вывезла. Да и власть над человеком, которого он только

что на мушке нагана держал, в голову ударила. Чувствовал Леванид, что в эту минуту может он казнить и миловать — это ли не власть? Чувствовал также, что теперь остальные делегаты лишь сопровождающие стали, он — признанным центром, вождем.

Сияющий, выросший, уверенный в себе, вернулся Леванид с товарищами к роте.

— Они согласились, — заявил он ротному комитету,— дело кончено.

Те в изумлении лишь ногами переступают.

И вдруг из задних рядов раздался неуверенный, сам себя стыдящийся голосок:

— Нас в первой волне итти уговариваешь, а сам в восемнадцатой пойдешь.

— Ага, — сказал Леванид, — не выдержали. Я вам уже предлагал итти вместе с вами, раз один протест есть, я пойду с вами в первой волне.

И тут же, обернувшись к командиру роты, именем командира полка, приказал одного из младших офицеров перевести на свое место в 3-й батальон.

— Поручик, — закончил Леванид, — я пойду с вами, солдаты со мной пойдут, а теперь, ребята, спать.

И пошли делегаты на соседний участок, на участок первой роты. Там дело было „хуже". Окопы оказались целы, снаряды лишь свистели над головами, разрываясь где-то внизу у подошвы холма. Да и говорить пришлось не с городовыми, людьми абсолютно изолированными в солдатской массе, а с самым настоящим и лично знакомым ротным комитетом. Да еще собравшимся в большой и комфортабельной землянке ротного командира. Солдаты уперлись, настойчиво и даже озлобленно защищая свою жизнь, может быть, чувствуя трагическую бессмысленность и бесполезность предстоящего на утро боя.

Блиндаж был большой, Леванида с товарищами встретил командир роты, веселый, славный парень, белобрысый, волосы, что лен. Несчастный, он в этот день только что вернулся из отпуска, был оживлен, болтал без умолку. Через четырнадцать-шестнадцать часов Леванид увидел комок тела, свернувшийся на носилках. Комок вываленный, как в муке в меловой пыли, покрытый белыми повязками в ржавых красновато-бурых пятнах. И комок сказал ему:

— Это я, Максимов, все ребра у сердца к чорту, осколок около пуда.

А еще через два часа он умер.

Но сегодня, сейчас, он еще был оживлен и весел и пока ходили за представителями ротного комитета, Максимов болтал, как машина заведенная, угощал делегатов сластями и вином, что с собою из отпуска привез.

Пришли солдаты и организованно заявили, что дискуссии открывать не станут, зная, что прапорщик Леванид говорить горазд, и в бой не пойдут.

Сказали и к двери было направились.

Начни Леванид с этой роты, он наверное с ними не справился бы. Но теперь, окрыленный успехом, уверенный в себе и в своей власти, Леванид не сомневался, что сломит сопротивление и этих людей.

— Молчать, предатели! — заревел он.—Вторая, третья, четвертая роты согласны итти, а вы нет? (Леванид врал, ибо настроения третьей и четвертой рот он совершенно не знал.)

Провода телефонов были перебиты, и никакой другой связи из-за ураганного немецкого огня в данный момент между ротами не существовало. Никто не думал, что снизу в роту можно пробраться, и появление Леванида с товарищами из штаба полка было само по себе вроде разрыва бомбы.

— Я предлагаю вам, — ревел Леванид, — на выбор следующее: или соглашайтесь итти в бой, или оставляйте винтовки и идите сейчас же в Козово в тыл как дезертиры, а если вы выбора не сделаете, если с винтовками в руках вы останетесь в окопах, я за час до начала атаки приду с третьей ротой и перебью вас, как собак. Ну что же, уходите? Уходите, иуды!

Солдаты оторопели. Таким они Леванида не видывали. Они верили всему, что он сказал, как верили этому командир роты и младшие офицеры.

— Товарищи, — сказал командир роты, — весь батальон идет, неужели же мы одни?

В ответ солдаты заговорили все сразу.

— Так третья и четвертая роты согласны итти? Они еще колоть нас хотят, сволочи, сами подговаривают. Так?

— Да, так,— соврал Леванид, но соврал решительно и упоенно и он уже подсознательно чувствовал, что победил,

что его вранье, его самоутверждение восхищают его товарищей по делегации и покоряют тех, кого должны покорить. Леванид закусил удила. Идеи, злость, а главное упоение власти, удивительное чувство легкости, уверенности в себе, несли его к успеху.

— Ах они шкуры, сами зачинщики, а теперь, накося, колоть пойдем, — забормотали члены ротного комитета.

И потом:

— Ну как все, так и мы.

— Поручик, — возгласил Леванид, — дело кончено.

Кубарем от воронки к воронке под непрерывный вой снарядов и грохот и свист разрывов скатилась делегация вниз к третьей и четвертой ротам.

Тут Леванид не церемонился совершенно. Уверенным генеральским тоном приказал он созвать в землянку командира батальона, оба ротных комитета, господ офицеров и взводных унтер-офицеров сверх того.

С места в карьер, не дав вздохнуть вошедшим делегатам от солдат, набросился на них Леванид. Набросился со всем опьянением от только что одержанных побед, со всем упоеньем от только что перенесенной смертельной опасности.

И уже через минуту услыхал покорное:

— Ну что же, как все, так и мы.

— Я буду завтра драться в четвертой роте вашего батальона, — заявил Леванид командиру батальона. — Прапорщика Столярова я послал на свое место в 3-й батальон.

После этого солдаты ушли, а Леванид с товарищами пошли к командиру полка. Жуков и Ильин тоже пошли спать в роту. Они из 1-го батальона были.

XXVI

КАНУН БОЯ. НОЧЬ И РАССВЕТ

— Полк в бой пойдет, господин полковник, — Леванид доложил.

— Спасибо вам, — полковник говорит, — ото всех офицеров нижайшее...

На том объяснение чувствительное и закончилось.

Очередь тяжелых прямо в окопчик, что к двери блиндажа вел, ударила. Лампа со стола полетела, стало темно

и смрадно от разрыва. Со стульев все посвалилось. Это немец без всякого предупреждения ураганный огонь по поперечной лощинке открыл, со стороны которой вход в блиндаж был.

Очухались в блиндаже помаленьку. Видят, слава-те господи, снаряды без газов — вонь простая. Лампу подобрали, зажгли. Вот когда карманные электрофонарики действительно нужны оказались. Дверь искалеченную в сторону оттащили, воздуха свежего в блиндаж впустили. Хорошо, что блиндаж этот буквой „Г“ был сделан и вход с короткого конца был.

Немец по лощинке до трех часов ночи крыл.

Спать нельзя. Играли в домино, кушали, адъютант все какие-то консервы рыбные открывал.

Огонь стих так же внезапно, как и начался. Рассвет стал заниматься. Побрел Леванид спать в первую роту. По ходу сообщения идя, Леванид размышляет: „Через несколько часов бой, а каски стальной нет, а в бой без каски итти плохо“. Глядь, а на траверсе каска стальная лежит, совсем как в сказке. Померил Леванид каску, как раз по голове. Одно — ремешка нет; из веревочки, что в кармане нашлась, Леванид ремешок смастерил. Каску на голову надел и пошел. Идет Леванид, а навстречу ему человек в офицерских погонах, лицо перекошенное.

— Не узнаешь?

— Нет.

— Такой-то.

Оказалось, один из компании прапоров, с которыми Леванид из Москвы выехал. Теперь в соседнем заамурском полку служит.

— Да что с тобой? — говорит Леванид.

— Как что, через пять-шесть часов начнется бой, а там раны, смерть... Да ты что, железный, не боишься?

Ничего Леванид не ответил и дальше пошел. Как же не бояться? Всякому боязно, но эта боязнь где-то внутри сидит скованная, наружи нет ничего, а тут лицо перекошенное, ужас, глаза от страха на выкате, лоб мокрый с прилипшими волосами. И возблагодарил Леванид судьбу, что она сделала ему неизвестным животный страх смерти.

Придя в землянку, не нашел Леванид ни одной свободной койки, потому схватил спящего на „его“, как он считал,

койке офицера, стащил на пол, так что голова спящего полупроснувшегося, оказалась за дверью землянки, лег на еще теплую койку и заснул мертвым сном.

XXVII

БОЙ 18 ИЮНЯ. УТРО

Переутомленный работой, проделанной за ночь, Леванид спал и снов не видал.

— Вставайте, господин прапорщик, вставайте! — тряся Леванида за плечи и ласково улыбаясь, говорил какой-то солдат, наверное, ротный телефонист. — Через пятнадцать минут атака, не опоздайте.

— Атака? — Леванид вскочил.

Яркое солнечное утро. Спать хочется досмерти, а тут говорят „атака". — „Чоррт!"

— Давай воды!

Освежив лицо, Леванид в самом радужном настроении отправился к своей полуроте. Да как же не радоваться? Успех за время вчерашней ночи не ясно, но буйно переживается всем существом и как бы несет Леванида на поларшина над землей, и солнце светит радостно и весело, тепло-тепло, а в то же время с прохладцей, как светит оно только ранней весной.

Напротив по склону холма, кверху, чудный ковер цветов, яркие красные огромнейшие галицийские маки, синие васильки, яркие желтые лютики, небо синее. А взглянуть назад, на вторые линии за реку, — опять яркий красный ковер маков, кое-где прорезанный белыми линиями окопов и ходов сообщения. Прямо марсианский пейзаж, если верить Уэльсу. Лишь кое-где лужайки всамделишной настоящей зеленой травы. А внизу долины реки Жолмувки, — вся она как „развернутый наперсток", воронка к воронке — свежая коричневая земля блестит на солнце и лишь ярче оттеняют ее небольшие кусточки яркозеленой травы, уцелевшей на границах между воронками. Кое-где в воронках блестит вода.

Воздух пьяный, молодой, весенний. Странно, канонады не слышно, но воздух наполнен визгом и звоном летящих осколков и пьюпьюканием пуль.

За поворотом окопа, у бетонированного пулеметного

гнезда стоит ротный командир. Кавалер Георгия и золотого оружия. У него припадок нервной дрожи.

— С добрым утром! — говорит Леванид.

У поручика ляскают зубы:

— Ка-а-а-ак вы-ы мо-о-жете у-улыбаться сейчас перед бо-о-ем?

— Дорогой, если бы я столько дрался, сколько вы, и я бы не улыбался. А сейчас нервы свежие.

И уже сверлят, пришпандоривают Леванида идеи: вот человек безупречной храбрости, три года бессменно в окопе под огнем, в послужном списке — всему полку известно — шестнадцать больших штыковых многодневных боев. Два раза ранен, контужен и нет ему смены. А в тылу, начиная с тыла фронтового, со штабов дивизии, корпусов и армий, сидят в безопасности по протекции жирные и толстые офицеры, за всю войну не бывшие не то что в бою под пулями, но даже не удосужившиеся просто, хотя бы в период затишья, из любопытства посетить первую пехотную линию.

И вот, безупречный офицер, много раз зарекомендовавший себя в бою, стоит сейчас перед своими солдатами, которых должен сейчас вести в бой, и стоит в таком нервном состоянии, что ему стыдно за себя.

Тут же стоит зачем-то начальник разведочной команды полка, поручик Александров, любимец командира полка. Леванида ненавидит глубоко, искренне, но как всегда с улыбочкой:

— Здравствуйте, Леванид, — говорит он. — У меня большой опыт и верный глаз. Взгляните мне в глаза. — Ну, так и есть. Прощайте, голубчик, вас сегодня убьют. У кого перед боем такие глаза, те не возвращаются.

— Вы любезны до конца, господин поручик — цедит Леванид сквозь зубы, — и уже радость утра начинает гаснуть и подыматься злоба на Александрова, как-то странно перемешанная с буйной радостной отвагой, что наконец будет перейдена линия, вот уже сколько месяцев бывшая запретной чертой.

Леванид идет налево по остаткам окопа. Только десять часов тому назад он проходил по этим самым воронкам и ямам, но при ярком солнечном свете он опять не узнает места.

Вот первый раненый. Шальная пуля пробила ему грудь,

он свалился. Его подняли. Он весь в меловой пыли, не дышит, а хрипит и захлебывается, дергаясь всем телом. Почвенный мел так густо покрыл его руки и одежду, что даже трудно представить себе, что это человек, а не паяц или кукла, которых дергают за веревочку.

К своей полуроте Леванид подходит улыбаясь, насвистывая марсельезу.

— А мы думали опоздаете, — говорит какой-то солдат.

Интересно. Леванид почти не видит людей, но обстановка, камни, уступы почвы врезаются ему в глаза и в память. Нервное напряжение все усиливается и усиливается.

— Вот я вам ступенечку отрою, чтобы из окопа удобнее лезть было, — говорит взводный и начинает рыть в уцелевшей стенке окопа уступы.

„Действительно, — соображает Леванид, сейчас надо выскакивать из окопа, а это не так просто".

XXVIII

БОЙ 18 ИЮНЯ. НАЧАЛО АТАКИ

Вдруг, как вздох, пронесся по окопу шопот:

— Пошли! пошли!

Направо, по горе, к самой вершине Утюга, кверху, согнувшись в спине, быстро-быстро побежали серые комочки, блестя штыками винтовок.

— Ребята, вперед! — заорал Леванид, — вперед! Сам выскочил наверх из окопа и побежал.

Но оказалось, что перед полуротой Леванида немецкие проволочные заграждения уцелели. Направо, налево, русская артиллерия сравняла их с лицом земли. Перед Леванидом же с его полуротой заграждения стояли в полной неприкосновенности. Солдаты заметили это раньше Леванида и полегли, Леванид бежал скорее их, сейчас он был один впереди. Обернувшись, увидя, что солдаты легли, Леванид остановился, повернулся спиной к немцам и стал кричать и махать палкой.

Стоять так было трудно, очень трудно, так как летящие пули, треск пулеметов, вой своих и немецких снарядов создавали ощущение какого-то мощного угрожающего потока, омывающего тело со всех сторон, как воды быстрой

реки омывают купальщика, осмелившегося встать на дно. Это ощущение охваченности струями острой угрозы сопровождало Леванида в течение всего боя, выплывая на поверхность сознания особенно резко каждый раз, когда Леванид останавливался, все равно один или в кучке с солдатами.

И вот, стоя так, во весь рост, спиной к пулям, слушая как они часто-часто свистят мимо ушей, Леванид орал голосом диким, напряженным до хрипа.

— Вперед, мать, мать, мать, мать!

— Вперед, мать, мать, мать, мать!

И махал палкой.

И непрерывно ощущал Леванид волны охватившей его реки и даже упирался немного, как будто кто действительно толкал его в спину.

Хочется Леваниду уступить волне, приникнуть к земле, но вся воля направлена на то, чтобы стоять во весь рост, вытянувшись, как на параде. Ноги припаяны к земле, все мускулы тела напряжены до последней степени. Сознание, что ни свист пуль, ни ужасающее такание пулеметов за спиной не могут сломить и заставить наклонить хотя бы голову, наполняет душу упоением неизъяснимым, подлинным упоением боя.

Солдаты, видя, что Леванид стоит и даже не гнется, начинают отлипать от земли и по одному перебегают вперед. Вот началась общая перебежка, и теперь солдаты невольно равняются по Леваниду. Леванид стал вождем маленькой полуторы, но под самым серьезным, настоящим, всамделишным, боевым огнем.

Нервное напряжение, вызываемое условиями современного боя, непередаваемо. Его нельзя себе представить, его надо пережить. Живут все клеточки тела и за одну минуту такого боя несомненно устаешь больше, чем за часы усиленнейшей мирной физической работы, даже если фактически в эту минуту боя стоишь совершенно спокойно. Военные спецы обозначают это состояние как „психическое состояние, вызываемое условиями современного боя".

Все впечатления необычайно ярки и красочны, а время тянется медленно-медленно, или, может быть, наоборот, мысли летят вихрем: за каждую секунду, за каждый шаг, успеваешь передумать столько, сколько в обычных условиях хватило бы часа на два, на три.

Но ведь это все еще не бой, это лишь начало боя за укрепленную полосу, первая линия которой снесена огнем нашей тяжелой артиллерии, и немцы из нее ушли еще до прихода Леванида.

Первая волна русских заняла первую немецкую линию без штыкового боя.

Но огонь неприятеля настоящий, напряженный, убийственный.

Вон направо, на спине у крайнего солдата на рубашке, на старой гимнастерке защитного цвета, отстиранной почти добела и чистой по случаю боя, побежала красная струйка. Солдат замедлил ход, винтовка выпала из рук и на следующем шагу он клюнул носом. Вон налево еще один, вон еще и еще... Начали падать по несколько солдат сразу.

— Трррах, трррах, трррах, взгиинннн!

— Трррах, трррах, трррах, взгиинннниинннн!!.

Это уже совсем всерьез. Рвутся очереди тяжелых шестидюймовых, а может даже и девятидюймовых, то справа, то слева, то спереди, то сзади, то опять справа и слева.

Каждую секунду вздымаются к небу со страшным грохотом по четыре черно-огненных столба, наполняя воздух грохотом, вонью, визгом и звоном осколков, вскрикиваниями и стонами раненых.

Немцы хотят смять, запугать, деморализовать, тем самым остановить и отбросить непрерывно льющийся поток русских цепей.

Полк Леванида идет на участке в семьсот шагов восемнадцатью волнами.

А вот залились хором пулеметы: трата-та-та-та-так.

Кто не слыхал этого дикого, мощного, настойчивого тактания, сопровождающегося воем пуль, то нарастающего, то слабеющего, то обрывающегося на момент, когда цепи залегают, то вновь начинающегося с еще более дикой энергией, тот не может представить себе какое действие оказывает оно на нервы.

Пули уже перестали пьюпьюкать, они визжат. Визжат так, как визжит чесуча в зубах китайского торговца, когда он продергивает ее быстрым движением справа налево, чтобы показать, что шелк настоящий.

Уже прошли вторую линию и опять не встретили немцев, хотя окопы нашли в лучшем порядке. От русского огня они пострадали меньше.

XXIX

БОЙ 18 ИЮНЯ. ПЕРВЫЙ НЕМЕЦ

Осталось еще пять линий. Адский концерт, достигающий к этому времени высшего напряжения, говорит, что сейчас столкнутся с врагом врукопашную.

Вдруг из какой-то ямы в ноги Леваниду бросается немец, обнимает ему сапоги, целует, просит пощады, лепечет какие-то бессвязные слова, немецкие, русские, — „зпазибо", в частности.

Леванид не может вырвать своих ног из рук немца. Уже подбежали солдаты, они смешно машут штыками над немцем, как на штыковом учении, когда примериваются и выбирают позицию перед чучелом.

У Леванида в руках заряженный наган, но и он еще различает под ногами маки и лютики и, главное, в немце Леванид еще видит человека. Он не может застрелить немца, как солдаты не могут по собственному почину заколоть его.

Жизнь немца спасена, он бежит, пригибаясь к земле, как заяц, в русский тыл.

Леванид и солдаты сконфуженно смотрят друг на друга. Им и стыдно — „Ну и вояки же мы!" — и в то же время противно и тяжело, каким гнусным делом они сейчас занимаются.

Но летят секунды... и не только секунды, летят пули, снаряды, осколки, вот уже в этой группе из семи человек двоих выбило. Треск пулеметов превратился в рев. Солдаты побежали вперед, увидали траншеи, и все попрыгали в них. От пулеметов защита, от снарядов — нет, нет защиты и от ручной гранаты.

XXX

БОЙ 18 ИЮНЯ. ШТЫКОВОЙ БОЙ

Пока идут по траншее, по чудесной немецкой траншее, глубокой и широкой. Смотрят по сторонам. Вот справа из хода сообщения присоединяется группа солдат другого полка, слева другая. Собирается человек двадцать. Среди них Леванид единственный офицер. Лица у всех напряженные, глаза выкатились, смотрят вперед, по сторонам и

вверх. Из каждой ямки может выскочить „он", махнуть кверху рукой, и потом смерть — дождь ручных гранат.

— Так дерутся теперь немцы, — учили солдат и офицеров специалисты-гранатчики перед самым боем.

Леванид тоже смотрит остро напряженно, замечает каждую тень от самого маленького камушка.

Вот брошенный пулемет — сдать в штабе полка, награда верная: захватил с боя пулемет, — но... чорт с ним. У входа в землянку ящик ручных гранат, это интереснее, однако запалов к гранатам нет.

Вой, треск пулеметов, грохот канонады стоит оглушительный. Земля ожила, ее контуры все время меняются: разорвалась очередь тяжелых, и там где только что была траншея, лишь ряд воронок, позволяющих все же догадаться, что здесь только что была траншея. Земля непрерывно трясется. Местами от сотрясения стенки окопов оползают и осыпаются. Со стенок, непрерывно шурша, сыпятся мелкие камни и песок. То густо, кучками, то понемногу, „в одиночку", в зависимости от расстояния до места ближайшего разрыва очереди тяжелых. Иногда в окопы вместе с осколками влетают камни и куски земли, отброшенные разрывами снарядов. В воздухе носится меловая пыль. Воздух полон характерными для боя шорохами и звоном, как будто кто-то на убогом деревянном струнном инструменте подыгривает все время: дьюн-дьюн-дьюн. Создается странное впечатление — в поле вокруг нет свежего воздуха. Весь воздух трясенный, мятый, старый, рваный, резаный, как в курительной комнате.

Траншея неожиданно поворачивает и мелеет, и Леванид, выглядывая через ее край, видит шеренгу немцев в серых мундирах.

Немцы постреливают на вскидку в сторону Леванида.

Раздается какой-то отрывистый крик, немцы хватают ружья наперевес и бегут на Леванида, их длинные штыки-ножи блестят на солнце ослепительно, блестят и глаза. Под каждой каской, каждый немец, это туманный контур, в нем ясны и отчетливы только глаза и блестящий штык.

Медлить нельзя и секунды, Леванид оглядывается на своих солдат. Лица у всех солдат искажены напряжением, может быть ужасом, может быть напряжением боя. Тела скрючены в комочки, каждому так и хочется сжаться, исчезнуть, сделаться меньше.

Леванид видит — все глядят на него. Он чувствует, что солдаты не дрогнули пока что, но дальнейшее зависит от него.

Дико завопив: „Вперед, вперед! за революцию!“ — Леванид устремляется на немцев. Силы слишком неравны. Гибель Леванидовой кучки очевидна, но на счастье справа раздается „ура“ и какая-то полурота бросается на немцев в штыки, обходя их с правого фланга.

Небольшая рукопашная схватка. Леванид стреляет из нагана в немца, который явно намеревался засадить в него свой штык. Для этого Леванид останавливается, кладет кулак правой руки с наганом на локоть левой и целится „под мундир“. Целится долго, около одной-двух секунд.

Леванид выстрелил. Немец упал, роняя винтовку.

Но вот немцы бросают винтовки, сдаются. Пробегают между русскими в тыл. Занята и четвертая линия.

Полурота, выбежавшая справа, опять исчезла, спрыгнула в какую-то траншею. При Леваниде солдат человек десять-двенадцать. Опять идут вперед, готовые каждый момент встретиться лицом к лицу с немцем и начать бой в окопе.

И опять мелеет траншея, кончается ход сообщения и снова видна новая линия стоящих во весь рост немцев.

— Эх, пулемет бы сюда, — мечтает вслух Леванид.

Мимо, откуда-то и куда-то, пробегает звено пулеметной команды с кольтом и скрывается. И хотя это люди Леванидова полка, но они очумели. Видно цель у них одна — спрятаться. Они не обращают внимания на крики и команду Леванида. Леванид со своими одиннадцатью оказался опять перед ротой немцев, видимо, он оторвался от своего полка и потерял связь. Да это и неудивительно в условиях боя за укрепленную полосу, особенно с того момента, как цепи, спасаясь от пулеметного огня, попрыгали в немецкие окопы.

На счастье параллельно немецкой линии оказался неглубокий окоп, недоконченный.

Леванид рассыпал своих в цепь и открыл беглый огонь по немцам и видит Леванид, что стреляют только старые солдаты. Человека четыре молодых из так называемого „пополнения Керенского“ лишь держат винтовки в руках и трясутся со страху вместе с ними. Зубы у них лязгают, они даже не пытаются открыть затвор или прицелиться.

Привычных движений у них нет, а сознание наполнено ужасом.

На минуту Леванид забывает бой, идеи о нелепой системе обучения солдат охватывают его сознание, но спохватившись, тут же он начинает крестить солдат палкой по спине, нарушая столь неделикатным способом столбняк страха. Все же ему приходится заряжать самому ружья для некоторых солдат. Вот один солдат вскакивает, подбегает к Леваниду.

— Ваше благородие, я ранен, разрешите итти в тыл.

— Куда ранен?

— В скатку [1], ваше благородие.

Леванид видит — скатка на самом плече разорвана в лохмотья, попала разрывная пуля. Солдата даже не задело, но от страху он очумел. Леванид поворачивает его лицом к немцу.

— Стреляй по немцу, мать, мать, мать, мать!..

В дополнение бьет его изо всей силы палкой по спине. Солдат приходит в себя и начинает стрелять.

Но вдруг немцы вытащили пулеметы — надо бежать.

— Назад в окоп! — кричит Леванид и первый дает пример.

Но пулемет уже заработал, и только пять человек отбежали с Леванидом, остальные остались там.

XXXI

БОЙ 18 ИЮНЯ. БОЙ ЗА УКРЕПЛЕННУЮ ПОЛОСУ

Впятером не бросаться же на пулемет в штыки, и Леванид отступает назад навстречу долженствующей прибыть поддержке — следующим волнам атакующих.

Выглянули наверх. Над траншеями русских не видно. Одна стенка немцев во весь рост стоит и на вскидку постреливает, а вой и грохот и тактакание пулеметное попрежнему.

Продолжают итти назад.

Навстречу кучка солдат без офицеров.

— Ребята, — говорит Леванид, — идем по этому ходу сообщения вперед, теперь нас достаточно.

---

[1] Сложенная особым образом шинель, которую кольцом перекидывают через плечо.

— Иди сам, коли хочешь.

Солдаты озлоблены, видно решили не слушаться. Главное они чужого полка и дивизии, Леванид для них простой безусый прапорщик. Его личный авторитет для них не существует. Только примером можно увлечь их. Леванид бросается вперед по ходу сообщения, при нем четыре солдата, два чуть-чуть впереди и два чуть-чуть сзади.

Начинается бой за укрепленную полосу, бой в траншее при помощи штыка, нагана и ручной гранаты. Плохо то, что у Леванида и его солдат нет ручных гранат. Есть только одна — у самого Леванида. Траншея широкая, четыре человека рядом стать могут. Идут изломами, ходами сообщения от траверса к траверсу.

Подходя к траверсу, Леванид со своими ближайшими солдатами, как мыши, прижимаются к стенкам.

Вдруг, заглянув за один траверс, Леванид чуть-чуть не стукнулся головами с немцем.

На немце мундир серый, бескозырка с красным околышком, кокарды.

И сейчас же немец рукой кверху махнул металыцику, что за ним с ручными гранатами шел, знак подал.

И сейчас же через траверс на русских полетели ручные гранаты.

Повидимому, металыцик немец волновался, бросал слишком сильно, гранаты перелетали через траншею и рвались вверху не поражая.

Каждая секунда была дорога, нельзя было терять времени. Каждую секунду, каждую четверть секунды новая граната могла разорваться в ходу сообщения, и тогда — смерть.

Вытащил Леванид свою единственную гранату — солдаты свои выбросили еще в самом начале, чтобы двигаться легче, — дернул за кольцо, бросил и сразу понял, что не справился. Граната не разорвется. Потому, заорав: „ура-а-а-а-а!“ — крепко сжимая ручку нагана, ринулся за траверс. Два солдата бросились за ним.

За траверсом Леванид увидел двух немцев. Неожиданное появление русских вызвало у них столбняк от ужаса, они застыли и только легкая дрожь показывала, что это живые люди. Левому Леванид выстрелил из нагана почти в упор в лицо, в правого солдаты всадили штыки.

На лице у левого немного ниже глаза появилась не-

большая, красная ранка-пятнышко, и он смешно-смешно, продолжая опираться на стенку окопа, опустился, сел на дно, так что одна его нога оказалась между ног Леванида.

Другого немца первые штыковые удары лишь ранили. Его стали добивать, он кричал, а разъяренные солдаты исполняли над ним какую-то пляску. Их было уже человек шесть и они быстро-быстро кололи немца штыками, даже после того, как он дернулся и испустил дух.

Так, победив после долгого боя,
Враг уже мертвого топчет героя.

Леванид смотрит на этот дикий кошмар с радостью, с удовольствием. После двух убийств ему самому хочется и колоть, и резать, и убивать врага.

Глаза бегают по сторонам, смотрят нет ли врага, того врага, который заставляет так безумно страдать и который сам может каждую секунду изуродовать и уничтожить.

Выглянув кверху, увидали, что подошли шагов на двадцать-двадцать пять к новой стенке немцев, стреляющих на вскидку по русским. Немцев рота, не меньше — опять назад.

При Леваниде теперь только четыре солдата, остальные разбежались.

Отойдя немного назад, Леванид встретился со свежими наступающими русскими цепями и присоединился к ним, фактически на положении солдата. Леванид подобрал винтовку, снял с убитого подсумки с патронами. Солдаты были другой дивизии.

Эти цепи шли в порядке гуськом с офицерами. Леванид сообщил, что до немцев шагов пятьдесят-шестьдесят. Решили броситься в штыки. Так и сделали.

Завыли, затарахтели с боков немецкие пулеметы.

Немцы бросились в контратаку, но быстро побросали ружья и сдались, пробираясь в русский тыл — в плен.

Но пулеметы не сдавались и дважды с двадцати шагов Леванид бросался в штыки на пулемет. Леванид опять стрелял почти в упор в отдельных немцев. И опять немцы падали.

Пулеметчиков немецких убивали с озверенья, особенно одного, прикованного за руку к своему пулемету. Перебежками двигаются дальше, можно думать, что взято уже пять-шесть линий, осталось одна-две.

Но вот, прыгая через окоп, Леванид получает силь-

ный удар в правую руку пониже локтя, поворачивается в воздухе и летит на дно трехаршинного немецкого хода сообщения.

XXXII

БОЙ 18 ИЮНЯ. ОТРЕЗВЛЕНИЕ ОТ БОЯ

Повернулся Леванид в канаве носом кверху, сел, вскочил, а потом опять к самому дну окопа прижался.

И сразу тут для него вся картина переменилась.

Идеи все от него убежали, упоение боем, возбуждение от опасности пропало и осталось лишь отчетливое, до боли яркое ощущение собственной беспомощности, сознание дикого ужаса своего положения.

Рука болит — ранен в предплечье, боль острая, невыносимая, но кровь почему-то не течет, кости целы.

Но временами и боль забывается.

Понимает же Леванид сейчас только одно: в бою он часа два-три — часы с руки потерялись, — так приблизительно по солнцу можно определить, значит почти два часа он бежал вперед, от русской первой линии, наверное, версты две-две с половиной ушел. А туда надо дойти. Но как? Из окопа вылезти страшно, там наверху вой пуль, свист осколков, грохот разрывов. По стенкам окопа все время валятся вниз комья земли и камни, отброшенные разрывами или оторвавшиеся от своего места вследствие сотрясения почвы.

Леванид вдруг ловит в своем сознании сравнение: грохот и вой боя до момента ранения и сейчас.

Упоение боем исчезло. Леваниду до боли ясно, что он только маленькая песчинка, которая попала в большую машину, один раз уже захвачена и отшвырнута в сторону калекой, сейчас захватит еще раз и уничтожит совсем. Страх охватывает все тело и судорожно прижимает Леванида к земле. Леванид один, стесняться некого, его никто не видит.

Но сознание говорит: сидеть на месте и страшно и опасно, контратака немцев — случайное колебание линии фронта и конец. А случайный снаряд или пуля настигнет и здесь так же хорошо, как и в другом месте.

Надо итти.

Но куда?

Посмотрел Леванид на солнце. Должно быть двенадцать часов или час. Солнце на юге и в окоп в длину светит, значит окоп с юга на север идет, т. е. параллельно немецкому и русским фронтам.

Прикинул Леванид в уме ту кривую, по которой он бежал в атаке, и решительно повернул на север.

В левой руке Леванид наган зажал, но он слишком хорошо понимает свою полную беззащитность.

Иногда описывать любят, как раненые на полях сражения под трупами лежа в сознание приходить начинают. Да только — чорта ли в нем — в трупе-то? Это конечно, сидя в уютном кабинете, около лампы с зеленым абажуром и на любимую женщину глядючи, да еще сверх того после сытного обеда ароматную папироску покуривая, прямо душещипательно это себе труп разлагающийся представить, который на моей или под моей „простреленной" грудью лежит.

Только там, в сраженьи, труп он ту прелесть неоценимую имеет, что он тебя не ударит и не застрелит, а значит он не то, чего надо бояться.

А вот подумаем над положением человека, для боя негодного, пробирающегося по развороченным траншеям в одиночку, постоянно натыкающегося то на завалы, то на рогатки, загораживающие путь.

А тогда положение раненого становится ужасно: вылезти из окопа нет сил, стенки высокие отвесные, вперед нельзя, а назад — уже пройдено нето четверть, нето полверсты, итти назад попросту нету сил.

Раненый идет то спокойно, то нервно припадает к стенке, боязливо заглядывая за траверс, то падает на землю, спасаясь от воя пролетающей очереди тяжелых снарядов. Всегда кажется, что тяжелые снаряды разорвутся вот-вот у самых твоих ног.

Раненый встает, идет дальше, нещадно, дико ругаясь на каждое новое сотрясение воздуха, на каждое новое проявление разрушающей силы врага.

Вот только что было хорошо — тихо-тихо, один треск пулеметов и звон и визг осколков. Но вот немцы присылают одну-две-три очереди тяжелых снарядов. Раненого сшибает с ног, оглушает, засыпает землей. Он вскакивает, стряхивает землю и снова идет.

Появляются трупы, их много, очень много. Это место

рукопашной схватки. Окопы разворочены тяжелыми снарядами. Леванид видит убитых немецких офицеров, на них бинокли, парабеллумы, каски, все то, за чем Леванид охотился в тылу, там в Петербурге, в Москве. Охотился и потом, уже на фронте, в первой линии.

Но сейчас, здесь, ему так гнусно вспоминать об этом. Слишком глупо и грустно то, в чем он только что по собственной воле, настеганный и пришпандоренный своими идеями, принимал участие. Леванид с отвращением вспоминает о своих мечтах: взять с боя оружие у врага. Какая это, в сущности, гадость.

И снова вихрь идей налетает на Леванида, он забывает окружающую обстановку, он видит только одно, гнусную жестокость тех, кто три года тому назад, имея всю полноту власти, подверг миллионы людей этой жестокой, дикой и мучительной участи.

Леванид начинает злиться.

Эти идеи, эта злость, приводят в порядок сознание Леванида. Он вновь чувствует себя офицером.

Он замечает знакомую вершину Утюга, он понял, что подходит к первой немецкой линии. „Ну, теперь помогай бог", — думает Леванид, и начинает быстро, насколько позволяет ранение, выбираться из окопа, а потом пробираться через луг, лежащий между первыми линиями. Опять кругом близко-близко пьюпьюкают пули, опять свистят осколки. Но Леванид уже взял себя в руки. Он понимает, что сейчас приседаниями не спасешься. Теперь все — дело случая. Место же открытое, с полкового наблюдательного пункта в бинокль увидать могут, и выпрямившись, он переходит луг, даже не нагибая головы.

Перед ним гигантская воронка — тут взорвали горн, на ее скосе лежат два унтер-офицера и стреляют по склону в небо.

— Вы что тут делаете, мать, мать, мать, мать! — орет Леванид.

— Сражаемся, — отвечают они, и тут же начинают стрелять по склону воронки кверху.

— Вперед, трусы! — орет Леванид, забывая все свои гуманные мысли и, видя, что они не встают, стреляет левой рукой из нагана в землю между ними.

Солдаты вскакивают и убегают.

„До следующей воронки", — думает Леванид, глядя им

вслед, и, выскочив из горна, под пулями, перебегает первую линию русских окопов.

Спасен.

Почти спасен.

XXXIII

БОЙ 18 ИЮНЯ. ЛЕВАНИД ПРОБИРАЕТСЯ К ПЕРЕВЯЗОЧНОМУ ПУНКТУ

От радости, что очутился снова как бы дома, Леванид забывает боль и снова начинает чувствовать тепло солнца, видит луг на холмах напротив, покрытый красными маками, где расположена вторая русская линия. Снова видит Леванид долину Жолнувки со взрытой коричневой землей и оттененной клочками яркой зеленой травы. Она кажется теперь Леваниду такой близкой, милой, родной.

Только два-три часа назад Леванид начал отсюда атаку, правда, чуть-чуть левее. Этой ночью он проходил здесь, когда после успешного уговора первой роты направлялся во вторую.

Как все изменилось.

Леванид спасен. Он вел себя в бою хорошо, то, что надо было сделать, сделал, и снова могучая радость жизни наполняет Леванида.

Спасен.

Спасен, да не совсем. Сейчас ужас боя ушел далеко вперед, но немцы кроют тыл, снаряды рвутся в долине Жолнувки, утром этого не было.

Немцы крошат лес напротив. Там стоит русская тяжелая артиллерия. От частых разрывов верхушки деревьев как-то странно шевелятся.

Леванид спускается ниже к землянке, где провел ночь — сейчас там сидит поручик Десяткин, командир 3-го батальона и еще два офицера.

— Что вы тут делаете? — любопытствует Леванид.

— Руководим 3-м батальоном и поддерживаем связь с полком, — отвечают ему.

Все слишком ясно.

Леванид молчит. Молчат и они.

У Леванида больше нет сил для того, чтобы нажать на этих трусов, для того, чтобы заставить их итти вперед.

Леванид молчит.

Боль в руке опять появилась острая и мучительная. Леванид заходит в землянку, достает из полевой сумки еду и молча ест, не ел со вчерашнего дня.

Леванид осматривает свой костюм и видит — на обоих коленках штанины лопнули, это в бою бывает часто. Леванид заметил это и на других. Конец скатки Леванида тоже разворочен разрывной пулей, как у того солдата, которого он крестил палкой в начале атаки.

Молчат, насупившись, сидящие в землянке офицеры. Для них сейчас Леванид свидетель не из приятных. Но он ранен, едет в тыл, так в общем — плевать на него с высокого дерева.

Леванид встает, собираясь уходить.

Те, вдруг спохватившись, начинают расспрашивать, как дела, куда ранен.

— Разве не видите, в левую ногу, — бросает Леванид и начинает спускаться вниз по лощинке от воронки к воронке вдоль остатков крытого хода сообщения, совершенно изуродованного снарядами. А какой это был великолепный ход сообщения, весь перекрытый толстым волнистым железом и бетонированный.

Леванид идет по ходу сообщения, что длиной в две версты и что прорыт вдоль всей первой линии у подошвы холма, специально для подведения резервов.

На левой невысокой стороне хода лежат покойники. Покрытые меловой пылью, они не производят на Леванида и сейчас решительно никакого впечатления. Это жертвы случайных осколков или аэробомб. Наладить обстрел этого хода немцам не удалось.

По ходу навстречу идут солдаты, чужие, незнакомые. Леванид сторонится. Вот появляются свои знакомые лица, это запасный батальон полка идет в бой.

— Ранены, господин прапорщик? — участливо спрашивают солдаты. — Ну, слава богу — живы остались.

Итти по ходу трудно, а так хочется поскорее в штаб, поскорее к докторам.

Леванид выскакивает из хода, спускается немного ниже на дорожку и идет по ней. Тут же бредут и другие раненые. Вот наконец и перевязочный пункт, перед ним очередь, повязки в крови, носилки с тяжело ранеными.

— Не узнаете меня, — слышит Леванид шопот с одних из носилок.

Носилки полевые — две палки и между ними совершенно свободно висит полотно, так что палки можно сближать и раздвигать. Полотно сдвинуто, раненый сидит, а руки закинул на плечи санитарам, голова свисает на грудь. И этот раненый тоже весь в меловой пыли.

Леванид смотрит на белый комок и конечно не узнает.

— Я, Максимов, командир первой роты. Осколком в ребра под сердце, конец, — доносится странный голос.

Леванид вглядывается и в согнутом, сжавшемся, белом комке, с повязками, покрытыми бурыми пятнами, узнает вдруг здоровое, молодое, радостное тело, на которое любовался часов двенадцать-пятнадцать тому назад в темной землянке при слабом блеске свечей.

Леванид подает левую руку, что-то говорит.

— Нет, конец, — отвечает раненый и слабо жмет Леваниду руку. Его проносят вне очереди в перевязочную.

Леванид ждет очереди.

Доктора уже осатанели. Едва улыбнулись Леваниду. Работают бешено.

— Либо две пули, либо одна развороченная на излете,— говорит старший врач. Что под кожей, выну сейчас, остальное резать в тылу придется.

И без всякого предупреждения, неожиданно резким движением двух пальцев левой руки захватывает кусок кожи на предплечьи Леванида, резко сжимает ее и в то же время правой рукой чиркает по образовавшемуся бугорку ланцетом. Пальцами левой же руки выдавливает из надреза кусок мятого свинца, а правой рукой, бросив ланцет, осушает ранку от крови марлей, а потом, схватив пузырек с иодом, льет на рану иод.

Леванид крепится, но от боли он жмурится. Перед глазами Леванида мелькает белое — бинт. Бинтуют руку, потом делают подвес.

Кончено.

Леванид выпрыгивает на луг перед блиндажем и пляшет танец диких, держась левой рукой за раненое правое предплечье.

Поплясав, идет в соседний блиндаж штабной. Там почти пусто.

Полковник на наблюдательном пункте. Следы ночного разгрома еще ясно видны, но уже многое прибрали. Леванид садится, его радостно приветствуют, угощают.

XXXIV

БОЙ 18 ИЮНЯ. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

„Ну, отработал", — думает он.

Но нет.

В блиндаж вбегает солдат для связи. Принес записку от начальника дивизии. Ее по телефону читают командиру полка.

Оказывается, один из заамурских полков, что стоит рядом в щелях, отказывается итти в бой. Начдив предлагает установить связь и побудить солдат к выполнению воинского долга. Непосредственной связи с полком у штаба дивизии нет.

И опять все к Леваниду — иди и уговори.

И полковник о том же по телефону просит.

И опять тут обычная история приключилась с Леванидом: чем бы попросту на свою рану сослаться, ранен-де, не могу, Леванид идеями загорелся. Идеи Леванида схватывают, п р и ш п а н д о р и в а ю т, Леванид встает и выходит из блиндажа.

Раненый Леванид, без шапки, в одной рубашке, с рукой на перевязи, отправляется к щелям, идет в штаб заамурского полка „уговаривать".

Сейчас штаб полка — небольшая площадка под крутым скосом. На ней человек десять-двенадцать офицеров стоят. Сидит командир полка. Ряды полевых телефонов.

Полковник на вид — сырая, толстая, брюхастая баба с длинными бакенами.

— Я от начальника дивизии, — говорит Леванид, показывая записку. — Почему вы не ведете в бой вверенный вам полк?

— Вы кто такой будете, молодой человек? — срывающимся голосом, неуверенно и неумело пытается осадить полковник.

— Я председатель дивкома 74-й дивизии, — говорит Леванид. — Почему вы не ведете ваш полк?

— Они не хотят итти в бой, — говорит полковник.

Леванид видит, глаза полковника смущенно бегают по сторонам. Попросту говоря, лжет полковник.

Солдаты давно повылезли из щелей и стоят на краях во весь рост, как зрители в цирке. Их очень инте-

ресует, зачем прибежал к полковнику раненый, махая бумажкой.

Что будет дальше?

— Хотите, я сам спрошу солдат, хотят они итти в бой или нет? — говорит Леванид полковнику.

Полковник не дает прямого ответа, полковник хочет задобрить Леванида, оттянуть по возможности время.

— Послушайте, дорогой, вы не торопитесь. Вы ведь из боя. Ну, как дела, расскажите, нам ведь интересно.

— Я шел в бой в первой волне, — говорит Леванид. — Я ранен при взятии пятой линии час назад. Победа наша. Ведите полк, господин полковник.

Но животный страх сковал полковника. Уходить из такой уютной норы туда, где нет ни защиты, ни спасенья от газа, пуль и снарядов, не хочется, не хочется смертельно. Глаза полковника вдруг зажигаются злобой хорька, которого хотят вытянуть из норы. У него рождается уверенность, что он достаточно властен, чтобы просто прогнать докучливого мальчишку.

Он встает и резким голосом бросает:

— Пойдите и скажите пославшим вас, что я не могу выполнить приказа, так как солдаты отказываются итти в бой.

И стоящие кругом полковника офицеры опускают головы и глаза.

— .....,— ревет он на полковника. — Мать, мать, мать, мать! Лжешь, собака, предатель. Я сам поведу твой полк, а тебя, собака, на штыки подымут...

И повернувшись к амфитеатру щелей, на краях которых стоят солдаты, Леванид ревет, указывая здоровой рукой на полковника.

— Товарищи, эта собака лжет. Она говорит, что вы не хотите итти в бой. Товарищи, пять линий из семи уже взяты. Победа наша. Не драться надо — нужно лишь закрепить взятое. И что же, вы предадите первую победу революции? Нет! В ружье! Я сам поведу вас! В ружье! Вперед! В бой за свободу, за революцию!.. Ура!..

— Ура, ура, ура-а-а-а-а!! — ревут солдаты, хватают винтовки и двигаются вниз.

Первой в ход сообщения прыгает пулеметная команда со своими „Максимами“, а за нею вытягиваются рота за ротой.

Полковник стоит, смешно вытаращив глаза, на своей площадке по одну сторону хода сообщения, Леванид напротив, с другой стороны, на бугорке. Полковник смотрит в полном недоумении то на Леванида, то на своих солдат, которые у него под ногами уходят в бой.

Он наверное даже представить себе не мог, что его полком, в его присутствии, вопреки его воли, будет командовать какой-то мальчишка.

Но вот он обращается к своим офицерам с каким-то приказанием, и телефонное имущество на площадке начинает приходить в движение и складываться.

Кроме пулеметной команды спустились уже в ход сообщения еще одна-две роты.

Видя, что полковник в поход собрался, Леванид повернулся и пошел рядом с ходом сообщения по верху, подбадривая солдат. Так он дошел до того места, где солдаты покидали ход сообщения и начинали подниматься на холм.

К этому моменту становится совершенно очевидно, что командная машина в полку заработала. Лезть на холм с раненой рукой в рядах совершенно неизвестных солдат невозможно и бесцельно. На роль рядового бойца Леванид уже не годится, а другой он сейчас получить не сможет.

Леванид чувствует себя лишним в этом потоке людей, уходящих в бой. Он спускается немного ниже на дорогу и, опустив голову, бредет назад в штаб полка.

Он чувствует себя окончательно разбитым, сломленным.

Вспышка идеологии барина, офицера, патриота, либерала, националиста, заставившая его сейчас уговорить полк и бросить еще несколько тысяч человек под пули, улеглась. И вновь поднялась со дна души та правда, которую он впервые осознал часа два, два с половиной тому назад, когда раненый и одинокий он пробирался от воронки к воронке, от одного участка уцелевшей траншеи до другого, мимо трупов и изувеченных людей, под градом пуль и под визг и грохот разрывов:

„Война — бессмыслица, — думал он, — гнусность, участвовать в ней нельзя, организовывать ее — подлость и преступление".

И отчетливо видит Леванид, как два пласта идей борятся в его голове: один — привычные барские идеи, идеи офицера, барина и либерала: родина, отечество, честь мундира, погон, оружия, честь вообще, и рядом — лицемерное

желание самому-то уцелеть при всех этих схватках, получив достаточное количество блестящих ярких побрякушек для украшения всего мундира, и в основе всего, на самом дне души, глубокое презрение к „серой скотинке", позволяющей гнать себя на убой. Она-то проиграет во всех случаях.

И другой слой идей, другая душа:

„Признаю, что нет ничего более гнусного, чем все то, чем жил и во что верил в последние месяцы. Какая гнусность гнать в бой этих темных людей, и в мирное-то время часто недоедающих и недосыпающих, и заставлять резать друг друга во имя красивых фраз, отлично при этом зная, что все материальные выгоды достанутся тебе и тебе подобным, а „серой скотинке", в лучшем случае, крест повесят на грудь".

И сознание безвыходности конфликта этих двух взаимно исключающих мировоззрений лишает Леванида всякой способности к действию.

Первая идеология так привычна, она въелась, впиталась в кровь, вторая — так ярка и так бесспорна.

Леваниду становится вдруг ясно, что вся работа его в полку есть работа хорошего механизма, которым управляли, который „пришпандоривали", как он стал говорить впоследствии, ряд привычных, навязанных ему воспитанием идей, осмыслить которые, критически отнестись к которым он не умел.

Леванид понял, что если солдатская масса тянулась к нему все это время, то тянулась лишь как к лучшему из плохих, вернее из никуда негодных.

Разве он понимал ее? Разве он жил подлинными интересами солдат?

Да ведь они для него были и сейчас остаются такой же тарабарщиной, как китайские кули, которых он видел в детстве на Дальнем Востоке.

Он чувствует, что ближе всего к своей природе, к самому себе он был в последнюю ночь, когда с наганом в руке, изрыгая на головы солдат потоки гнусной непечатной ругани, он сломал волю 1-го батальона, не желавшего итти в бой.

„Какой из меня гвардейский офицер мог бы выйти", — со злой иронией думает Леванид.

Но все же гвардейский офицер занимает лишь солидную часть миропонимания Леванида, кое-что в его голове

живет совершенно независимо от него. Новая правда расшатывает его влияние.

Леванид вспоминает, что еще месяца полтора-два тому назад он высказал в одной дружеской беседе со своими приятелями докторами одну мысль, может быть единственную умную за все последнее время:

— И что вы, господа, с четырехххвосткой-то носитесь? Кабы я крестьянином да рабочим был, погнал бы я всех нас, интеллигентов, в шею, и в учредительное собрание своего брата, мужика и рабочего послал бы. Да помяните мое слово, этим у нас на Руси и кончится.

Те в тылу, для кого лицо войны всегда прикрыто листами свеженапечатанных газет, никогда не поймут и не осознают того жуткого ощущения глупости, гнусности, подлости и ужаса, которым от него веет.

Лицо войны — не лицо Медузы [1]; оно не убивает, но кто раз серьезно и спокойно заглянул в него, становится на всю жизнь другим человеком.

Другим человеком с этого дня стал и Леванид.

Не сразу превратился он из либерала-националиста, барича, поклонника „Речи“ и почитателя Милюкова в сознательного сторонника социальной революции, как единственного реального способа прекращения „международных вооруженных конфликтов“. На это пошли еще годы, но 18 июня 1917 года барич Леванид получил первый удар — „по черепу“. Большевизация Леванида в дальнейшем пошла именно по этой линии, по линии глубокого уважения к взбунтовавшимся солдатам и дезертирам. Для окружающих Леванида, для его тыловой родни и знакомых, ничего не было более ругательного, более позорного, чем слово „дезертир“. Не было ничего более гнусного, чем бегство с фронта.

Леванид же видел в дезертире-большевике раньше всего человека, осознавшего свою личность, не желавшего больше быть „серой скотинкой“, таскать каштаны из огня для командующих в тылу генералов и заводчиков. Если вдуматься в различие этих двух видов отношений к дезерти-

---

[1] Медуза — такая у древних греков была ласковая богиня. На место волос у нее на голове росли змеи. Достаточно человеку было взглянуть на нее, и он умирал.

рам, станет ясно, что оно может поставить людей из одной семьи в момент решительной социальной схватки, по разные стороны баррикад.

XXXV

ЭВАКУАЦИЯ

Трудно представить себе что-либо более безалаберное, чем эвакуация раненых летом 1917 года, особенно на том участке фронта, который был за границей России — в Австрии.

Безначалие. Конфликты врачей с комитетами. Неразбериха.

Первое впечатление Леванида от эвакуации, это рой знакомых сестер в отряде Государственной думы. Леванида окружили, отделили от остальных раненых, увели в докторскую палату. Дали горячего куриного бульона с лапшой и куриной ножкой. Эту тарелку супа Леванид наверно никогда не забудет.

Леванид редко бывал в отряде, всего раза три-четыре, но его повидимому заметили, и офицеры — легко раненые, из Леванидова же 293-го полка — были поражены, что и на этом „фронте“ Леванид их обскакал.

Думский отряд был развернут в том самом лесу, где раньше жил Леванид с докторами. Местность была знакомая, а так как у Леванида был задет нерв, то рука, хотя и с целыми костями, болела и ныла отчаянно. Не было сил сидеть на месте. Леванид пошел в тыл пешком. До Телятино версты три-четыре. По дороге попались два-три наскоро развернутых полевых лазарета. Вокруг на траве лежали раненые и мычали. По существу дела это были не раненые, а отравленные газом. Леваниду опять подвезло. Он вышел из боя раньше, чем немцы подвезли снаряды с удушливыми газами.

Боль в руке, нервное напряжение, мучительное желание поскорее удрать подальше от всего этого кошмара — „использовать свое право раненого“, вот чем жил Леванид весь вечер. Ночь была мучительна. По всему фронту гремела канонада адская, беспрерывная, а фронт был только в двух верстах.

В сарае, на полу на соломе, лежали, иногда в корчах, искалеченные стонущие люди. Их сопротивляемость была

равна нулю, а адский грохот артиллерийской стрельбы все время напоминал, что никакой безопасности у раненых нет.

Спать не удавалось. Ужасающее нервное напряжение боя сказалось. Все виденное за день не хотело уходить из головы. Стоило закрыть глаза, и мгновенно вихрь впечатлений начинал принимать формы галлюцинаций. Как живые вставали перед Леванидом отдельные участки окопов, на которые он днем в бою смотрел с особым вниманием. В ушах по временам появлялось тактакание пулеметов и на фоне грохота артиллерийской стрельбы нельзя было сказать, кажется ли Леваниду, или действительно тактакают пулеметы.

Зрительные воспоминания приобрели такую яркость, что Леванид забывал, где он именно находится. На месте темного сарая он видел опять яркое солнце, поле или окоп, и вот появляются немцы...

Блестят длинные штыки, под тяжелыми касками на темных лицах блестят глаза. Леванид в ужасе просыпается. Трудно сказать, были ли это галлюцинации или исключительно яркие сновидения. Надо думать и то и другое вместе. Галлюцинации на почве переутомления и перенапряжения нервной системы сливались и непосредственно переходили в сновидения. Все же, еще недели полторы после боя Леванид пробуждался от ужасных видений штыкового боя.

Утром погрузились на повозки и поползли в Тарнополь по тому самому шоссе, по которому побольше месяца назад Леванид с товарищами ехали делегатами на съезд.

Дорога — это смесь пыли, скуки, боли, жажды и голода.

Наконец Тарнополь, Вокзальная площадь.

Какой дикий вид...

Приезжают санитарные автомобили и выкладывают тяжело раненых на мостовые. Хорошо, что брусчатка и местами асфальт, а не булыжник. Людей с тяжелыми полостными ранами и тяжелыми костными ранениями и переломами кладут прямо без подушек и без матраца на каменную мостовую. Никто к раненым не подходит, вокзал мертв.

Этот вид потрясает Леванида. Рука болит, но все же способность ругаться и препираться с людьми утеряна не совсем. Кое-какие идеи еще пришпандоривают Леванида. Да и самому хочется поскорее покинуть Тарнополь.

Леванид бросается искать начальство медицинское. Надписи есть, все должно быть в порядке, а кругом ничего — пусто. Одни искалеченные раненые тихо стонут на площади. Солнце их печет, но никто не подает им воды, никто не обращает на них никакого внимания.

Леванид врывается в одну комнату, ругается с врачами и прорывается к высшим властям. Там, на счастье, он видит доктора П., члена Государственной думы, социал-демократа.

Доктор вместе с другими задумчиво проверяет положение флажков, обозначающих боевую линию на стенной карте.

Доктор узнает Леванида. Приветствия, расспросы. Леванид представляется докторам, его расспрашивают о ранении, о бое, но Леванид сам задает вопросы:

— Почему все стоит? Почему создан кошмар на площади?

И слышит изумленно-добродушный ответ:

— У нас конфликт с комитетом. Пока он не улажен, мы не будем работать, а низшие служащие настаивают на своих требованиях.

Леванид пробует разбудить, растолкать докторов. Безнадежно. Какое-то требование низших служащих задело такую струнку докторского самолюбия, что все горячие призывы Леванида отскакивают от докторов, как горох от стены. Доктора начинают злиться — появившаяся было сердечность тона исчезает.

— Чорт с вами, — говорит Леванид. — Я сам налажу эвакуацию, а тогда и вы начнете работать.

Леванид идет в комитет низших медицинских служащих — учреждение, повидимому, самочинное. Нежелание признать его существование со стороны докторов и послужило, повидимому, основой конфликта. Но в комитете сидят жирные тыловые фельдшера и кроме ругани у Леванида с ними ничего не получается.

И их посылает Леванид к чорту, а может быть и подалее.

Леванид идет к дежурному по станции, тот вполне разделяет Леванидово возмущение. Он готов подать товарный состав. Но, по его мнению, это сейчас бесполезно: нет людей для оборудования состава, нет людей для переноски раненых с площади в вагон.

— А материалы для оборудования есть? — спрашивает Леванид. — Доски есть? Матрацы есть? Носилки есть?

— Есть все необходимое и сверх того — совершенно излишний и гнусный конфликт медицинских работников. Комитет хочет сломить докторов „забастовкой", а доктора „принципиально", возмущенные „такой забастовкой", не хотят уступать.

— Подавайте состав, я налажу дело.

— Да разве вы доктор? — говорит дежурный по станции.

— Да, — врет Леванид. Ему ясно, что только это „да" обеспечит легко и быстро подачу состава. Кителя и погон на Леваниде нет, он в одной рубашке с рукой на перевязи.

— Ну, тогда другое дело.

Дежурный отдает распоряжение и буквально через пять-восемь минут подают к главной платформе пустой товарный состав.

Начало движения на вокзале вызвало на перрон весь комитет. Но их не прошибешь.

— Напрасно вы затеваете, — говорят комитетчики, — ничего все равно не выйдет. Мы не уступим.

Но Леванид уже имеет в здоровой левой руке ключи от пакгауза для досок, матрацев и носилок. Ему недостает только людей, но и этот вопрос он уже обдумал. Он уже знает, как он раздобудет людей.

На путях стоит эшелон, отправляющийся на фронт. Там гармонь, пьянство, пляски, но там живые люди.

Леванид отправляется к эшелону, влезает на пустую платформу, стоящую на соседнем пути, и обращается к солдатам с речью.

Эта речь в печати непередаваема. Учитывая пьяное настроение воинства, Леванид пускает в ход весь богатый ассортимент „выразительных слов", специально в качестве эпитетов и оценок поведения конфликтующих эскулапов, маленьких и больших. Солдаты сочно гогочут. Посылают делегата взглянуть на площадь. Их эшелон только что подошел и за пьяно-угарным настроением, царящим всегда в частях, едущих в бой, солдаты не рассмотрели кошмарной драмы, протекавшей на вокзале и вокзальной площади в Тарнополе.

Делегаты вернулись и встали целиком на сторону Леванида. Солдаты сразу согласились.

Леванид принял команду солдатами эшелона. Офицеры эшелона тоже приняли участие. Остальное просто. Построенных людей, привыкших оборудовать вагоны с надписью „40 человек, 8 лошадей“, в данном случае не было необходимости чему-либо учить. Леванид отпер пакгауз. Досчатые нары моментально были установлены в поданном составе. Разложить по ним матрацы было тоже делом не сложным.

Самое трудное предстояло впереди: организовать переноску тяжело раненых с площади в вагоны. Тут нужна сноровка, а у простых солдат ее нет. Правда, в эшелоне были и санитары, их Леванид выделил.

В этот момент среди медперсонала произошел спасительный перелом. Комитетчики, видя, что и без них нашлась живая сила, и притом ругающая их самыми последними словами, вышли на работу. На площади появились сестры и санитары, зашевелились и доктора. Все же посадку этого эшелона Леванид довел до конца, не потому что ему хотелось: он раза два пробовал залезть в вагон на приготовленное место, но его вытаскивали сестры:

— Доктор, без вас работа не идет, ради бога!

И „доктор“ снова шел, ругался, приказывал и направлял.

В самую последнюю минуту на вокзал принесли двух немцев лейтенантов с перебитыми ногами. Никто не пускал пленных к себе в вагон. Леванид велел поставить их в тот вагон, в котором ехал сам. И вот, когда установка носилок с ранеными была окончена и Леванид встал уже ногами на нижние нары, чтобы лезть к себе наверх, поезд дернуло. Леванид не удержался и опрокинулся назад во весь рост. Инстинктивно он перевернулся в воздухе, чтобы раненая рука оказалась сверху. Но упал он как раз поперек обеих носилок, на которых лежали раненые немцы с перебитыми ногами. Прямо на их перебитые ноги и упал Леванид.

Немцы кричали, кусали губы, очень быстро справились с собой, только побледнели от боли.

На русской границе Леванид пересел в специальный санитарный состав и с удобствами ехал до Орла. Там поезд задержали на неделю и сказали, что, может быть, его не пустят в Москву. Леванид с двумя товарищами бежал с поезда и одиночным порядком прибыл в Москву.

XXXVI

МОСКВА

Леванид приехал в Москву, лег в лазарет и стал лечиться.

В дни Тарнопольского прорыва Леванид, лежа в госпитале, горько над газетами плакал. Очень уж ему обидно было. Трудно разобраться, что так глубоко задевало Леванида. Несомненно не чувство обиженного патриота. Он и тогда не придавал объективно большого значения этому прорыву, как и позднее ничуть не расстраивался Брест-Литовским миром, отлично понимая условность этих событий. Но чувство боевого товарищества, чувство спортсмена было глубоко задето.

Выписавшись из лазарета, Леванид купил серую офицерскую тальму, нацепил две пары „кованых" погон (это те, что поярче), прицепил золоченый кортик, руку на черной шелковой перевязи повесил, новые хромовые сапоги надел и эдаким героем 1812 года по Москве прогуливаться стал.

Встречал знакомых и все к нему как к „герою" относились. Левую руку жали и приятные слова говорили. Только ротный командир запасного Московского полка, в котором недолго прослужил Леванид, на улице встретившись, процедил:

— Вы, что это, в трамвае себе руку повредили?

Органически шкурники Леванида не переваривали, а этот ротный классным шкурником был. Всю войну в Москве ротой в запасном полку прокомандовал.

Трудно Леваниду отдохнуть в тылу. Тыл жил такой непохожей жизнью. Конечно, тот тыл, к которому по рождению и воспитанию принадлежал Леванид. Это были месяцы упоения „свободой" со стороны либерально кадетствующей интеллигенции, тесно связанной с промышленно-торговыми кругами, бешено набивавшими себе карманы на всякого рода подрядах и поставках армии. И рядом с отвратительной на взгляд окопника Леванида, недопустимой, преступной роскошью лились реки бесконечной интеллигентской болтовни о „правах, свободе, парламенте" и т. д. и т. п.

Для этих — везде море разливное, все и вся довольны собою и свободой и не довольны только одним — солдатами окопниками да еще большевиками. И трусы-то они, и шкур-

ники, и прохвосты, и революцию-то они предали, и наших „доблестных союзников“ тоже.

Эти потоки брани изрыгались героями тыла, их семьями, женами и дочерьми. Они взапуски превозносили офицеров и обливали грязью солдат. А Леванид считал, что дело обстоит несколько иначе, и шкурники самые подлые есть как среди солдат, так и среди офицеров.

По Леваниду выходило, что если в России есть „герои“, то это бойцы, солдаты и офицеры, люди, населяющие узкую полоску боевого фронта, в большинстве, процентов на шестьдесят, добровольно готовые итти за „родину“ на верную смерть, почти отчетливо сознавая при этом полную безнадежность продолжения войны.

Тыл Леваниду представлялся собранием тех самых дельцов, кои, по выражению Щедрина, вдаль совсем не видят, но зато, что близко под рукою, с удивительной легкостью и быстротой хватают.

Было ясно, что Россия тыловая забыла о небольшой кучке людей, с дуру позволяющих вести себя на убой, а иногда даже добровольно идущих на смерть.

Леваниду хотелось закрыть глаза и зажать уши.

Рядом был другой тыл, тыл трудящихся, революционных солдат и матросов, рабочих и крестьян, но у Леванида не было с этим тылом никакой связи. Он чувствовал только определенно, что эти основные классы населения идут куда-то левее интеллигенции.

Успех эсеров на выборах в Московскую городскую думу был первым ярким признаком этого полевения. Полевение заметили, но ничего не изменилось.

Леванид не понимал или не удосужился, может быть, понять, на какой путь вступили эти массы.

А интеллигенция этого не замечала. Руководимая привычными либеральными идеями, она зачитывалась до самозабвения бесконечными страницами благопристойных „интеллигентских“ газет. На Леванида эти газеты действовали невыносимо тоскливо, вызывали тошноту.

Рана закрылась, Леванид мог уехать из Москвы, но глубокий разрез, сделанный при операции на руке, требовал длительной возни с ежедневными горячими ваннами. Нето час, нето два в день Леванид разваривал руку в горячей воде.

Леванид уехал на дачу. В этот месяц Леваниду улыб-

нулась жизнь солнцем, травой, земляникой, яблоками и тем, что есть самого прекрасного на свете, — чистой любовью, первой любовью.

Но уже к концу сентября Леванид стал стремиться на фронт. Там гибнут сотни тысяч боевых товарищей. Лучше погибнуть там, чем сидеть здесь и болтать, болтать, болтать, не замечая, что родина гибнет, что эта болтовня гаже шкурничества и грязнее преступления.

Видно, действительно поправился Леванид. Снова идеи его пришпандоривать стали. Ему бы в теплом тылу сидеть, за любимой девушкой ухаживать, а он снова добровольно на фронт уехал.

XXXVII

СНОВА В ПОЛКУ

Леванид ехал долго и длинно. До Киева ехал с неким поручиком кавалеристом, сыном богатого помещика. Кавалерист всю дорогу с упоением рассказывал, как он свою невесту, дочь другого помещика соседа, увозом, тайком от родителей, с собой обвенчал, точно во времена Пушкина.

После Киева опять поезд, потом фурманка, город Сатанув и наконец полк.

В полку никто верить не хотел, что Леванид вернулся. Развал был полный, кто мог бежал в тыл. До немцев было шесть верст. Артиллерия стояла впереди. Пехота ходила на прикрытие. Окопы стояли заброшенные, и офицеры и солдаты жили в особых, относительно очень больших и комфортабельных землянках, расположенных сзади.

В штабе полка Леванида встретили хорошо.

В командном составе дивизии произошли как раз те изменения, которые предсказывал Леванид на фронтовом съезде: дивизией командовал полковник, полками командовали капитаны. 293-м полком командовал штабс-капитан, что — рыдая вечером в докторской халупе — себя республиканцем провозгласил.

Леванид слышал, что ему в бою оторвало ногу. На самом же деле и в этом последнем бою штабс-капитан, как всегда, был впереди и, как всегда, невредим. И на этот раз пули „рыло от него отворотили".

Власти у командного состава не было никакой. Всем распоряжались комитеты.

Первое, что Леваниду пришлось выслушать в штабе полка, это просьбу забыть старую вражду с офицерством:

— Нам бы тогда с вами, — сказал штабс-капитан, ставший республиканцем. — А теперь уж вы идите от офицеров в полковой комитет.

Леванид дал на это свое согласие.

— Чую я, — говорит, — что ничего все равно не выйдет.

И опять: не будь у Леванида идей — пристроился бы он в штабе полка или в пулеметную команду и коротал бы деньки. Ах нет. Хочу роту. Хочу дисциплину в армии поднять.

Грустно на него офицеры смотрят, улыбаются. Роту сейчас же дали.

XXXVIII

ЛЕВАНИД КОМАНДУЕТ РОТОЙ

Пришел Леванид в свою роту. Входит в офицерскую землянку и видит: сидят два прапорщика и внимательно друг в друга из нагана целятся. Со скуки развлекаются, полагать надо.

— Господа офицеры, — загремел Леванид, — для офицера из револьвера в товарища в шутку целиться столь же неприлично, как...

Смутились прапоры, револьверы попрятали. Потом познакомились с Леванидом.

Велел Леванид роту выстроить. Пошел с солдатами здороваться. Солдаты Леванида встретили приветливо. Да не очень.

К этому времени они идеи Леванидовы пораскусили. Да и процесс отхода от интеллигенции, рост недоверия к образованным людям, большевизация сиречь, здорово вперед продвинулись.

— Как насчет миру, господин прапорщик? — спрашивают.

Вид у солдат самый невзрачный, грязный. Обмундирование, казалось бы, крепкое, но надето как-то неряшливо, по-босяцки.

Грустно Леваниду стало. Видит: какие это вояки, никакая война с ними невозможна, им война не нужна, да и правы они: никому она не нужна, кроме тех, кем она задумана.

— О каком мире говорите? — Леванид солдатам отвечает, — весной снова в наступление пойдем.

— Ну это, господин прапорщик, ежели вы один пойдете, в охотку, что же — идите, мы не пойдем.

И тут же без команды расходиться из строя стали.

Этого Леванид допустить не мог. Вновь роту выстроил, а потом распустил. Что же ему еще делать-то было?

Фельдфебеля Леванид позвал, окопы с ним смотреть пошел. А окоп — не окоп, а нужник. И мыслить нельзя, чтобы в нем драться — буде придется.

— Вычистить, — говорит Леванид.

— Не станут, — фельдфебель отвечает.

— Станут.

На другой день, через пень в колоду, вычистили. Заставил Леванид.

Заставил Леванид и подправить окоп, оплести обвалившиеся углы, траверсы, прочистить обсыпавшиеся бойницы.

Подправить подправили, но ворчали солдаты на Леванида все время.

— У тебя вот так и пойдет, сначала порядок да порядок, а потом снова в бой итти заставишь.

XXXIX

ЛЕВАНИД И СОЛДАТЫ ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА

В полковом комитете Леванид много знакомых лиц встретил.

Ему сразу место председателя предложили. Но отказался Леванид, отказался, потому что окончательно не знал, что делать. Идеи его никакие не пришпандоривали, минутами тоска такая налезала, что хоть в петлю. В тыл ехать — он еще только что оттуда приехал. Здесь сидеть — совершенно бессмысленно.

Накануне первого посещения полкового комитета Леванида новый приказ Духонина и Керенского доканал. Рекомендовали генерал с адвокатом солдат в окопах во-время по часам будить, по часам ученье проводить и пищу давать, и расписание даже прислали.

От такого режима, генерал с адвокатом уверены были, дисциплина в армии и произрастет. Точно для казарм расписание.

А полк на такой позиции на крутом берегу реки Збруч стоит, что туда горячую пищу раз в два дня привозят, да и то часто не на всех хватает, например, если какая кухня при перевозке опрокинется.

Заскок в ставке Главковерха — ясно. Ничего-то люди там сидящие не видят и что кругом их творится не понимают.

Все же в президиум полкового комитета Леванид вошел.

На первом же заседании только речи и было: миру, миру, миру, миру.

А у Леванида в голове сумбур. Идеи барские, офицерские, о долге перед родиной, о чести офицерской и т. д. с новой правдой, что в бою Леванид познал, в бой вступают. Ни те, ни другие Леванидом окончательно завладеть не могут. Все же новая правда не позволила Леваниду в ударники записаться.

Видит Леванид, солдату драться не за что: дома, правду они говорят, и так голод, одна надежда что они, кормильцы, вернутся. А их тут за красивые слова на убой гнать хотят. И если даже солдаты победы добьются, то опять-таки в новых землях губернаторы и чиновники хорошо устроятся, а не они, солдаты. Солдату никакой пользы от войны нет.

И ничего не мог делать Леванид, все из рук валилось.

По вечерам, сидя в своих землянках, офицеры в приятном ожидании находились: не бросят ли им в землянку через окно ручную гранату. Такие „шутки“ имели уже место в соседних полках. Всегда могло статься, что „шутники“, ободренные безнаказанностью, посетят и Леванидов полк. А на беду в этой странной „первой“ линии, что позади артиллерии расположена была, землянки офицерские прешикарные устроены были. Целые оконные рамы из халуп солдаты повыломали и в землянках окна устроили.

В роте Леванид строевое учение завел, часа по два занимались. Ни солдат к Леваниду, ни Леванид к солдату.

У солдата у всякого голова в определенную сторону настроена. Из дома жена пишет: голодуем — я же здесь как дурак без дела сижу, а то меня и убьют, либо от тифа подохну, и что тогда?

У Леванида в голове сумбур — и солдата он понимает, и правым его считает, и все еще остатки старых идей его пришпандоривают, офицерско-барские.

И встречается Леванид с солдатами ни свой, ни чужой, а вроде как муж с женой разведенные.

Один раз на заседании дивизионного комитета выступил с жалобами представитель ударных батальонов. Жаловался:

— На нас как на собак смотрят. Чуть что — ругань. А были случаи, что вечерами по нас и огонь открывали.

К этим жалобам и представители артиллерии присоединились. Леванид один раз сам видел, как кто-то со стороны русской ударников обстреливал. Ударники какую-то земляную работу вели.

Так вот и спрашивают представители ударников и артиллеристов, что делать и как быть?

Озлился Леванид, бес пустословия, иронии и сарказма его обуял:

— А вы себя по-нашему, по-пехотному, ведите, господа-товарищи, ударники и артиллеристы. Смотрите, как мы себя ведем: нас на работу — мы не идем, нам боевой приказ — мы не исполняем, а вы что же это за манеру взяли: вам боевой приказ — вы исполняете, вас на работу — вы идете. Мы от работы отказываемся, а вы и ее за нас выполняете. Не по-товарищески вы себя ведете. Лодырничайте, труса празднуйте, шкурничайте, вот и стычек у нас не будет.

Замолчали кругом, пока Леванид говорил, а кончил говорить — чуть не разорвали, еле вырвался.

Чувствует Леванид, не подходит он солдатам, и солдаты говорят:

— Совсем вы другим, господин прапорщик, стали. Против нас идете.

— Не понимаю я, — Леванид отвечает, — куда вы идете. А со многим и я не согласен, ну пока что и отошел я в сторонку.

XL

В РЕЗЕРВЕ

Полк Леванидов отошел в резерв. Это значит из чистых и комфортабельных землянок без насекомых перешли в халупы, заселенные бесчисленными полчищами блох.

Леванид устроился хорошо в деревянной — редкость в той местности — избе, что одним краем на деревенскую улицу выходила, а другим на столбах на склоне холма укреплена была.

За хату эту был бой. Леванид тот бой выиграл. В первую же ночь конная казачья батарея въехала в деревню, и казачьи офицеры ввалились в избу с криками:

— Ну, пехота, выметайся!

Леванид проснулся, схватил электрофонарик левой рукой, зажег. В правую схватил наган и заорал:

— Вон отсюда, мать, мать, мать, мать!.. Здесь офицеры спят. Стрелять буду.

Такого приема казачьи офицеры не ожидали, бормоча что-то не слишком печатное под нос, они удалились.

Жизнь потекла серо и однообразно.

По ночам война с блохами, с большими галицийско-румынскими блохами величиной в половину небольшого зерна ржи, темношоколадного цвета. Если сказать, что кусаются они, как собаки, то это слабо.

Ежедневно, перед тем как заснуть в своем спальном мешке, приходилось начинать войну и доводить ее обязательно до победного конца, т. е. до полного уничтожения врага, набившегося за день с соседней хозяйской лужки. Эта лужка, т. е. большая деревянная крестьянская трехспальная кровать, была его, врага, и родина и база. База неистощимая и неприступная. И тем не менее, в этой самой базе ежедневно располагалось на ночь целое крестьянское семейство: муж, жена и дочка.

Утро, день и вечер уходили на разговоры с двумя новыми младшими офицерами. Один — тип вечного студента-филолога, по воле судьбы превратился в поручика и попал под команду прапорщику Леваниду. Другой — тоже поручик, странный человек, нето больной, нето ушибленный. Говорил он умно, а вел себя странно, непонятно.

И вели эти три человека бесконечные интеллигентские разговоры на темы политические и философские.

По вопросам философским Леванид, видя что противники злятся, разводил идеи крайнего скептицизма, доводя свои формулировки до парадоксальной остроты. Филолог злился и в конце спора неизменно изрекал:

— А все-таки философия — это вещь, и для понимания ее нужен соответствующий возраст. Вот погодите, будет вам тридцать лет, посмотрим что вы тогда скажете.

Так и текла жизнь, а кругом и в них самих умирала старая русская армия, превращаясь в толпу людей.

Учение уже не производилось. Дисциплина умерла.

Штабное военное начальство конца 1917 года. Растерянные генералы и полковники, быстро сменяющиеся комиссары временного правительства — эсеры и эсдеки. Каждая сторона занята своими мыслями.

У офицеров тоскливое ожидание сильного человека, после поражения генерала Корнилова, сменилось апатией. Эсеры и меньшевики только и мечтали о „сохранении дисциплины армии", явно предвкушая „исторические роли" на предстоящем мировом конгрессе. Эти мечты отчасти делил с меньшевиками и высший генералитет, будущие военные эксперты на том же предполагаемом мировом конгрессе.

И те и другие тесно сотрудничали по изданию бессмысленных, по условию места и времени, приказов, о восстановлении дисциплины (типа приказа Духонин — Керенский), о срочном техническом улучшении дела снабжения армии. Планировали узкоколейки для подвоза на фронт продовольствия и снарядов и не понимали и не видели, что армия уже умерла, что у них нет уже власти заставить солдат итти нето что в бой, а даже на эти самые земляные работы, которые необходимы для постройки этой самой узкоколейки.

При установившемся среди солдат настроении их можно было погнать на работу, связанную с войной, только угрозой смерти.

— Сегодня на работу, завтра на работу, — говорили они, — а глядишь весной и опять в наступление погонят. Не пойдем.

Временное правительство не умело ни воссоздать боевого настроения, ни восстановить дисциплину. Мечтали лишь об одном: чтобы солдаты сидели по казармам и окопам и выслушивали красивенькие речи министров и комиссаров, когда тем придет охота поговорить. Ну конечно же, и в бой солдаты должны итти, когда им начальство прикажет.

Полная безнадежность положения была ясна Леваниду, и не только ему. Офицеры ходили понуря голову, молча гибла боевая часть армии. Погибал и 293-й пехотный полк. И среди солдат были люди, искренно горевавшие о гибели славного боевого полка. Но и эти люди с каждым днем гасли, блекли, темнели.

Теперь другие идеи захватили солдат. Идеи необходи-

мости немедленного мира и идея немедленного возвращения домой.

Участок фронта был глухой. Большевистская литература не докатывалась, вернее, не допускалась в полк армейским и корпусным комитетами. Полк разлагался тихо и вполне самостоятельно. Впрочем, не совсем самостоятельно. Из деревни шли письма, письма и письма...

— Долой войну, немедленно домой! — вот надежды-лозунги, которыми жили солдаты.

Тот, кто выставил эти два лозунга, как политическую программу партии большевиков, немедленно привлек на свою сторону сердца солдат 41-го корпуса.

XLI

ТАРНОПОЛЬСКИЙ ПРОРЫВ

Леванид не участвовал в отходе русской армии, вошедшем в политическую и военную историю под названием Тарнопольского прорыва, но он знал, что отход начался именно в районе 74-й дивизии. После начала отхода на головы солдат были пролиты ушаты ругани, брани и оскорблений. Совершенно забыто было сообщение Ставки от 19 июня, в котором говорилось:

> „Юго-западнее Брзежан после артиллерийской подготовки наши войска атаковали сильно укрепленную позицию противника, и после упорного боя, местами овладели ею. За день 18 июня захватили в плен девять офицеров и тысячу семьсот германцев, австрийцев и турок. Некоторые из наших частей потерпели большие потери, особенно в офицерском составе".

И вот эти же самые „герои" вдруг оказались „трусами", „подлецами" и „прохвостами".

Леванид в свое время в госпитале сильно горевал над рядом сообщений, посвященных Тарнопольскому прорыву. Его всегда интересовала подлинная картина этого отхода. Вот почему он использовал длинные и скучные дни пребывания в резерве для выяснения этого вопроса путем опроса офицеров и солдат как своего, так и соседних полков. Вот что ему удалось выяснить:

Отход начал полк Леванида, тот самый 293-й пехотный

Ижорский полк, который 18 июня, при личном участии Леванида так дружно пошел в бой и прорвал фронт немецкой укрепленной полосы. Настроение в полку переломилось в ночь на второй день боя.

Солдаты не выдержали ужаса ночного пребывания в чужих окопах и стали отбегать назад, а удержать их нагаком на месте офицеры не могли. Таким образом, к утру второго дня, т. е. к утру 19 июня, русские оказались опять в исходной позиции.

А между тем, как стало потом известно, немцы уже эвакуировали Брзежаны и хотели отойти до реки Сан.

На утро по полку был объявлен приказ начальника дивизии. В нем хвалили все полки, ругали один 293-й Ижорский за то, что он слишком далеко вырвался вперед, нарушив „общее планомерное выступление".

Нечего и говорить о нелепости этого приказа: когда ломают фронт, кто-нибудь да ломает его первым.

Справа от боевого участка Ижорского полка был Лысонский лес и в нем редут. Его штурмовали заамурцы, но взяли лишь три-четыре линии из семи. Налево чехи брали другой редут.

Ижорский полк шел в просвет между редутами под перекрестный пулеметный огонь с обеих сторон, не считая сопротивления семи линий „простых" окопов и штыкового сопротивления немецкой пехоты.

Приказ начальника дивизии заканчивался назначением новой атаки в одиннадцать часов утра 19 июня.

Собрали митинг.

Приказ вызвал бурю возмущения. Один поручик, слегка контуженный накануне, не пожелавший оставить строя для того, чтобы участвовать в дальнейшем бою, в истерической речи призывал возмутиться против начальства, не умеющего ценить боевую работу. Говорили и другие. Почва для отказа от продолжения боя была слишком благодарной. Потери в бою накануне были слишком велики. Уже был известен отказ 1-го гвардейского корпуса, который должен был итти в прорыв, сделанный 41-м корпусом.

Ночная канонада, грохот которой не давал спать раненому Леваниду в Телятино, произвела свое дополнительное действие. Полк отказался итти в наступление.

Ведь и 1-й гвардейский корпус взбунтовался на митинге в ответ на вопрос, поставленный командованием:

— Угодно ли вам, товарищи солдаты, совершенно добровольно итти сейчас туда на запад, где земля дрожит от грохота орудий, треска разрывов и тактакания пулеметов, и откуда вот уже два часа тоненькой цепочкой бредут и едут на носилках и повозках десятки свежеискалеченных людей?

Конечно, митинг 1-го гвардейского корпуса отказался от участия в бою.

Дальше в Леванидовом полку дело пошло именно так, как когда-то в своей речи к офицерам предсказывал командир полка: по полку поползли панические слухи, что немцы подвозят газовые снаряды и вот-вот начнется обстрел, от которого никому не уйти, так как немцы, мол, изобрели, какой-то новый газ. Отсюда паническое стремление уйти в тыл куда-нибудь с Утюга, к линиям окопов которого так хорошо пристрелялся немец. Остановить распространение этих слухов угрозой расстрела не было никакой возможности.

Командование полка растерялось. Командир полка „вдруг" „заболел" и уехал в тыл, передав командование. Это деморализовало офицеров. И вот, недели через две после боя солдаты сговорились, собрались и ушли в соседние две деревушки Комарувку и еще какую-то, кажется, Дубче. Офицеры остались в окопах одни.

Немец не наступал, боя не было. За солдатами 293-го полка проделали то же солдаты соседних полков. Фронт обнажился, немец не наступал, наоборот, он заканчивал плановую эвакуацию Брзежан.

Посидев по своим землянкам, офицеры к концу дня ушли за солдатами в то же самое Телятино.

Фронт оказался открытым.

Тогда командование додумалось издать приказ об отступлении по тому плану, который был, как всегда, разработан накануне боя 18 июня на случай неудачного исхода наступления и перехода немцев к активному образу действия.

Нескладными толпами стала отступать никем не теснимая армия. Начдива кажется опять сменили. Новый начдив, человек суровый и властный, как рассказывали, врывался верхом в колонны отступающих, ругая их самыми последними словами, иногда пускал в ход нагайку. Переконфуженные бессмысленным паническим бегством, солдаты не

оказывали никакого сопротивления. Кое-какой порядок в отступающих полках был восстановлен. Комитеты бездействовали. Немцы издали следили за отходом, высылая кавалерийские разъезды.

Тяжелые сцены происходили на вокзале в Козове, где артиллеристам приходилось бросать свои орудия. Артиллеристы пытались нанимать пехоту за деньги для погрузки тяжелой артиллерии на платформу. И все же, нето две, нето три из четырех двенадцатидюймовых гаубиц остались немцам из-за полной дезорганизации пехоты.

Может быть, отход начал и не Леванидов полк, а соседний, а Леванидов 293-й полк присоединился, это обстоятельство очень трудно выяснить.

А Ставка писала в сообщении, опубликованном во всех газетах 8(21) июля 1917 года:

„В десять часов 607-й Млыновский полк, находившийся на участке Боскув-Монаюв в том же районе, самовольно оставил окопы и отошел назад. Следствием чего явился отход и соседей, что дало возможность противнику развить свой успех. Наша неудача объясняется в значительной степени тем, что под влиянием агитации большевиков многие части, получившие боевой приказ о поддержании атакованных частей, собирались на митинги и обсуждали — подлежит ли выполнению приказ, причем некоторые полки отказывались от выполнения боевого поручения и уходили с позиции, без всякого давления со стороны противника.

Усилия начальников и комитетов побудить части к исполнению приказа были бесплодны".

И еще одно сообщение интересовало Леванида. Сообщение ставки, появившееся в газетах от 13 (26) июля 1917 года:

„Действовавшие в районе к северо-западу от Романувки части 113, 153 и 74-й пехотных дивизий бросили позиции и самовольно ушли в тыл".

Что произошло с частями 74-й дивизии под Романувкой? Вот что рассказывал Леваниду его приятель, старший врач, а также подтвердили своими рассказами другие товарищи, офицеры и солдаты.

В Леванидовом полку после „болезни“ полковника началось междуцарствие. Командовать полком назначен был тот самый штабс-капитан, который командовал им и теперь. Но солдаты это назначение опротестовали. В результате, кроме назначенного командира полка появился еще фактический командир.

Это был боевой офицер, одинаково любимый и солдатами и офицерами. Так и жили эти два командира полка вместе в штабе; между ними розни не было.

Но на беду скоро приехал третий кандидат на пост командующего полком, полковник, кавалер Георгия и оружия, уже бывший помощником командира полка. Командование должно было перейти к нему. У солдат он был относительно популярен за добродушно-фамильярное отношение, за храбрость и за подлинную доброту.

Но у него был один серьезный порок — он был тяжело болен — у него был, повидимому, прогрессивный паралич. В свое время он был эвакуирован по болезни и не слишком стремился вернуться. После прорыва под Тарнополем он прибыл в полк добровольцем. Установилась анархия. Солдаты из трех командиров предпочитали именно его.

Начальство ничего не могло поделать с добровольцем полковником, кавалером креста и оружия, да еще пользующимся поддержкой полкового комитета.

В результате офицерство сговорилось и изолировало его в полку, но так, что он это сам не слишком замечал. Он числился командиром полка, два предыдущих командира числились его помощниками, причем штабс-капитан фактически командовал полком, а поручик, т. е. командир полка номер второй, был его помощником. Офицеры условились между собою никаких распоряжений больного полковника не исполнять, поскольку они затрагивали хоть сколько-нибудь серьезные вопросы.

Вот сколь сложно было построено командование 293-м пехотным полком в тот момент, когда он встал на позиции под Романувкой.

— Мы стояли на позиции уже несколько дней, — рассказывал Леваниду старший врач. — В эту последнюю ночь, ночь отхода, этот больной человек сидел у нас в палатке. Он чувствовал себя плохо, был крайне возбужден. Говорил, что следовало бы полечиться. Я поддерживал в нем

это желание. Мы и раньше были с ним очень дружны. Парень он был славный. Вдруг он схватил трубку полевого телефона и заорал:

— Говорит командир полка, слышите.

И немедленно все ротные телефонисты ответили: „слышим".

— Передайте командирам рот мой приказ. Нас обошли, мы отходим на позиции, что намечены на пятнадцать верст назад. Торопитесь!

И бросил трубку.

— Мы попытались связаться с ротами, — продолжал рассказывать старший врач, — чтобы отменить распоряжение командира. Но в полку уже началась сумятица. Телефоны сняли.

Была ночь в лесу. Лес шумел, шел дождь, люди, объятые страхом обхода, срочно свертывали свои вещи и бежали в темноте на пятнадцать верст назад.

— Мы сидели в штабе полка, — рассказывал Леваниду другой свидетель, прапорщик Ястребов, тот самый, которого в столь нелюбезной форме отказался было назначить в один батальон с Леванидом полковник, — я исполнял обязанности адъютанта. Было совершенно спокойно, о немцах ни слуху, ни духу. На позиции этой мы уже стояли несколько дней.

Устав от томительного отхода, вымотавшего и душу и тело, мы отъедались и отсыпались. Вдруг слышим со всех сторон в лесу шаги. Выскакиваю из землянки: „Кто идет? куда? в чем дело?"

— А-а, это прапорщик Ястребов? — кричит командир 1-го батальона. — Доложите командиру полка, что роты моего батальона, согласно приказа свернулись и отходят. Только немцев мы не видели и не слышали.

— Да вы что, очумели! — кричу я. — Кто вам приказывал? Но командир батальона даже и говорить не стал.

Остановить ночью в лесу поспешное отступление, почти бегство полка, которому сообщили, что он „обойден", можно только при наличии железной дисциплины.

Ястребов вернулся в штаб, попробовал связаться по телефону, телефон не работал. Никто ничего не понимал, сидели, как оголтелые. Наконец прибежал старший доктор, все стало ясно. Остальные — соседние полки и дивизии — тоже немедленно подались назад.

XLII

РОТА ЛЕВАНИДА БУНТУЕТ

Дисциплина исчезла, исчезла не только среди солдат, но и среди офицеров.

Как-то на земляных работах Леванид командовал отрядом в две роты.

Работы производились в лесу, в той нейтральной зоне, шириной от шести до двадцати километров, которая простиралась между немецкими линиями и нашими. В сторону немцев были выдвинуты два взвода в редкую цепь.

Леванид с одним младшим офицером сидел в какой-то маленькой случайной землянке между цепью и работающими взводами. Работами командовал непосредственно другой ротный. Ночь была темная, мокрая, холодная. Что почудилось правому флангу заградительной цепи — неизвестно, только вдруг там, на правом фланге, затрещали винтовки. Цепь открыла беглый огонь.

Прибежал фельдфебель:

— Господин прапорщик, говорят — немцы наступают.

— Прапорщик Демин, — говорит Леванид, — пойдите с фельдфебелем, проверьте.

— Теперь свобода, — отвечает прапорщик Демин, — идите сами, если хотите, я не пойду. Пусть фельдфебель сходит.

— Если господин прапорщик отказывается, я тоже не пойду, — говорит фельдфебель.

Леванид вынул наган и, положив локоть на стол, прицелился в лицо Демина:

— Я считаю до трех, по счету три — я вас застрелю.

— Вы не имеете права, сейчас свобода.

— Молчать, раз... два...

— Я иду, — залепетал Демин, вставая.

— Фельдфебель, при возвращении доложите мне, как вел себя при осмотре цепи прапорщик Демин.

Так воевать нельзя.

Если офицер, боясь темного леса, заставляет своего непосредственного начальника прибегать к угрозе наганом, да еще в присутствии солдата — амба.

Армия умерла.

Однажды Леванидову роту назначили на земляные ра-

боты по узкоколейке. Когда Леваниду сообщили, что рота собралась, он вышел из своей халупы и пошел на сборное место, на вершину холма перед сельской церковью.

Площадка была не очень большая, обнесена, как везде в той местности, плетнями. Середина торчала пупом, и верхушка пупа была голая, вытоптанная, сухая. Это было место сельского схода.

Когда Леванид подошел к церковной площадке, рота толпилась на середине, на этом самом пупе, тесно друг к другу прижавшись, так что со стороны она представляла небольшую пирамиду голов.

— Отчего не построены? — спросил Леванид фельдфебеля, и, не дожидаясь ответа, скомандовал:

— Станови-и-и-ись!..

Но никто в ответ на команду даже не пошевелился.

— Что же вы, оглохли? — Леванид спрашивает. — Становись живо!

И опять в ответ тяжелое молчание роты, и опять никто не пошевелился.

„Вот наконец, — мыслит он, — вот и они додумались взбунтоваться“... И тут же другой поток мыслей: „Теперь и мое дело сторона. Не надо будет и мне, Леваниду, тащиться по осенней глубокой грязи и сырости за пятнадцать-двадцать верст и потом целый день сидеть в сыром лесу, глядя как солдаты медленно-медленно, нехотя отрывают канаву или насыпают вал“.

Но удовольствия этого Леванид показывать не хочет. Он только твердо решил про себя, что разрываться он больше не будет. Надлежащей речи, которая заставила бы солдат пойти, он тоже произносить не будет. Какой смысл ему разрываться? Уже четыре роты в полку отказались итти на эту работу. Посылают его роту. Хотят использовать его личный, Леванидов, авторитет, для того чтобы отрыть сто пятьдесят саженей насыпи или канавы. Но уговорить солдат удастся даже ему, Леваниду, еще максимум один раз — сегодня. В лучшем случае и еще следующий раз. Солдаты во-время догадались взбунтоваться. Можно будет сейчас в халупу вернуться и снова засесть за чай, за разговоры и на радостях открыть банку компота эйнемского, что в полковой лавке достать удалось. Славный компот.

Но пока что надо действовать и действовать с достоинством.

— Вы не хотите строиться? — спрашивает Леванид.

— Никак нет, — отвечают солдаты. А один славный рыжебородый мужик продолжает:

— А ты, ваше благородие, на нас не серчай, — и голос его звучит мягко, дружелюбно, — мы к тебе это полное уважение имеем, а только, что нам с того, что ты у нас ротный, за всех отдуваться приходится. Другие роты откажутся, а нам нельзя: у нас господин прапорщик Леванид командир. Только мы на то больше не согласны. Бунтуемся. Вот и окоп мы вычистили, восстановили, а что толку? Во всем полку у одной роты в окопах порядок. Два дня в..... пачкались, да одежду в грязи валяли, а что толку? Как дожди начались, так отливных канав никто чистить не стал, этот наш окоп все равно водой-то и залило. И удовольствия-то тебе от наших трудов дня на два хватило. Так ты на нас не серчай.

Леванид и не сердится. Солдаты сразу это замечают, они видят, что начальство вполне разделяет их точку зрения, однако виду не кажет и показывать не хочет.

— Я сам вас построю, — говорит Леванид, и начинает вытаскивать солдат за руки по одному из кучи и строить таким образом две шеренги.

Вытащенные и поставленные Леванидом в строй солдаты стоят как вкопанные. Недоумение полное. Такого оборота дела никто не ожидал. Остальные с изумлением смотрят, не знают что делать.

Уже Леванид выстроил таким образом человек семьвосемь, как вдруг солдаты, что-то сообразив, хватаются подруки, руки за спину, задний ряд обхватывает передних, и рота на вершине холмика превращается в живой круглый комок переплетенных тел.

Больше ни одного человека из этого клубка в строй не вытащишь.

— Что же это ты, господин прапорщик, делаешь? — резонно, с легким негодованием на Леванидову хитрость говорит тот же рыжебородый мужик. — Ты нас этак сперва построишь, а там в строю мы как бараны. Что скажешь, то и будет.

Построенные семь человек стоят.

— Господа офицеры, — обращается Леванид к двум своим постоянным собеседникам на философские темы, — вы видите, что мною приняты все меры для того, чтобы побу-

дить вверенную мне роту выполнить ее долг перед родиной, свободой и революцией...

„Не хуже любого социал-демократа говорю", думает про себя Леванид, и тут же командует своим семи жертвам:

— На пле-е-е-е-чо!

— На пре-е-е-е-во!

— Прямо-о-о-о по улице, шаго-о-о-ом... марш!

— Попрошу господ офицеров следовать за мной.

И фантастическая процессия отправляется вниз по улице, а рота остается стоять, обнявшись на холме.

До штаба полка Леваниду дойти не пришлось. Туда уже дошли слухи, что и Леванидова рота бунтует. Не прошел Леванид со своими солдатами и двухсот шагов вниз по улице, как увидел командира полка с двумя спутниками.

— Что это такое? — улыбаясь глазами, но делая сердитое лицо, спрашивает командир полка.

— Господин капитан, — рапортует бесстрастно Леванид, — это все люди из моей роты, осознавшие свой революционный долг в отношении отрытия ста пятидесяти саженей насыпи и канавы для узкоколейки.

Командир полка смотрит в глаза Леваниду. Он стоит несколько выше на сухой тропинке, он понял, что дело погибло, погибло безнадежно.

— Я пойду лично уговорю роту, — говорит командир полка.

— Слушаюсь, господин капитан.

И оба понимают, что итти с уговорами в роту Леванида, которую сам Леванид уговорить не смог, или не захотел, командиру полка, да еще именно этому самому штабс-капитану, совершенно бесполезно.

Но все же Леванид подает команду. Семь человек солдат „заходят правым плечом вперед" и идут назад.

Холодное заходящее осеннее солнце одинаково ласково освещает и церковь, и халупы, и шествующих солдат с офицерами, и огромные черные пятна только что запаханной крестьянами под пар помещичьей земли. На холмах кругом блестят яркие зеленые полосы озимых.

На площадке перед церковью уже успели устроиться по-домашнему. Со своего холмика солдаты видели встречу Леванида с командиром полка. Солдаты видят, что командир полка и Леванид идут к ним. Понимают, что будут

новые уговоры. Но они твердо решили не итти и потому для храбрости начинают садиться на землю, а те, кто сидел — растягиваются.

— Встать! — командует Леванид.

Улыбаются солдаты, но сохраняют позы кейфа. У них на вершине сухо, кто сидит — продолжает сидеть, кто лежит — остается лежать.

Этого офицерское начало Леванида стерпеть не может:

— Встать! мать, мать, мать, мать!.. — ревет Леванид.

Испуганные и еще более изумленные и смущенные ставшим уже непривычным окриком, солдаты быстро встают.

Эти окрики позволяет себе в полку один Леванид, других разорвут. Своеобразная привилегия.

Построить роту нет возможности, командир полка это видит и на вопрос Леванида: „Прикажете построить роту, господин капитан?“ отвечает:

— Нет, не надо, ведь у нас маленький митинг.

Он обращается с речью к солдатам.

Леванид слушает и изумляется: здорово подучился говорить капитан за эти месяцы. Но в общем речь бледная, слова ненужные и ясно, что ничего не выйдет. Несоответствие аргументов и вывода разительны-комичны: родина, революция, свобода, долг свободного гражданина — это аргументы, ройте сто пятьдесят саженей канавы — это вывод. Какие же слова, какие аргументы придется приводить в тот день, когда от этих людей потребуется смертная боевая работа?

Изредка из этих рядов раздается:

— Да ты не стара-а-ась, нипочем не пойдем...

— Вот-те крест, не пойдем, — поддерживает другой голос.

Капитан видит — дальнейшее словоизлияние является унижением. Злость на тех, кто стоит у власти и не умеет ни кончить войну, ни продолжать, охватывает его душу:

— Распустите роту, прапорщик, — говорит он, — я донесу, что в моем полку от этой работы отказались пять рот. Дальнейшие попытки, — добавляет он уже лично Леваниду, — ни к чему не приведут. Пускай ударники отдуваются.

И офицеры небольшой кучкой отрываются от „взбунтовавшихся рабов“, по крылатому слову „социалиста“ Керенского.

Они грустно идут по улице. У входа в Леванидову хату, молча пожав руки, расстаются.

XLIII

ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Скоро полку снова собираться на позицию. Леваниду не хочется до чорта. Бессмысленность лишений ясна. Армия не просуществует и двух месяцев, разбегутся солдаты. Леванид начинает мечтать о бегстве с фронта.

Уезжают буквально все. Из трех старых докторов остается один старший, он тоже уезжает на-днях.

— Не упускайте последнего случая, — говорит он, — я вам мигом двухмесячный отпуск по болезни устрою, а к тому времени, сами видите, все уже с фронта разбегутся.

Леванид дает согласие, оформляет отпуск, однако уехать пока что он не может: его и избрали и назначили, несмотря на его протесты и отказы, председателем комиссии по выборам в учредительное собрание.

Уже известно, что Временное правительство пало, что власть в руках большевиков. Но корпусный комитет из меньшевиков и эсеров, с которыми у Леванида ладу нет никакого, задерживает все подробности, не передает и распоряжений нового правительства. Комитетчики действуют не хуже, чем генералы, задерживавшие сообщение о февральском перевороте.

Но тут помогли немцы. Они довольно регулярно снабжали Леванидов полк ежедневной газетой „Новость". В номере от 11 ноября были помещены относительно подробные сведения о перевороте.

Когда впоследствии солдаты узнали о заградительной работе корпусного и других комитетов, они были возмущены до крайности. Попытки организации „всех демократических элементов" потерпели крах. 41-й корпус выказал чрезвычайно сочувственное большевикам настроение.

Пока что Ленин для Леванида и для солдат загадка. Никто ничего о нем не знает, кроме анекдота о запечатанном вагоне, да сообщений редких большевистских газет. Ленин чарует солдат обещаниями немедленного мира. Леванид читает большевистские газеты и многое в них кажется ему наивным до нелепости.

Он молчит, он чувствует, что в стране наступила полоса хаоса, из которой возникает какая-то новая власть. Как, когда и какая — неизвестно. Но что это будет, он уверен. Процесс же создания новой власти — процесс длительный и трудный. Размышляя на эти темы, Леванид подготовляет организацию выборов в учредительное собрание.

Леванид живет вместе со всем президиумом комиссии по выборам, всего три человека, в отдельной халупе. Роту он уже сдал.

При выселении из найденной халупы группы вновь прибывших прапорщиков, Леванид встречает среди них одного товарища по юнкерскому. Вот бы только когда Леванид попал на фронт, не возись он там с разными идеями.

Группа этих прапорщиков сплошь боевые унтер-офицеры, подпрапорщики, фельдфебеля постоянной службы.— Шкуры, — как их зовут солдаты. Их наспех произвели в офицеры. Они наглы, необычайно горды погонами. Все они, вне всякого сомнения, будущие кадры белогвардейщины. Для них потеря погон — катастрофа. Наконец помещение для комиссии найдено и налажено. Избирательная урна сделана из ящика и вся покрыта печатями. Окна и двери опечатаны наглухо, кроме одной двери: она будет распечатываться каждый раз при входе комиссии перед заседанием и запечатываться при уходе комиссии после закрытия заседания.

Халупа каменная — кулацкая.

Наступают выборы. Они идут в целом однообразно. Придя после комиссии домой, Леванид иногда садится помечтать. Как дико все. Еще в феврале этого года был на свете „благочестивейший и самодержавнейший“ государь-император, а теперь ноябрь — протекло всего девять месяцев, верховная власть в руках большевиков. Стоит Леваниду закрыть глаза, и действительность исчезает, все возвращается на место. Нутром политические события последнего времени не пережиты.

Так воспринимал события молодой и очень „левый“ Леванид. Каково же было людям старших поколений и правых взглядов. Понятно, что они и негодовали и ненавидели.

Во время выборов Леванида два раза чуть-чуть было на штыки не посадили. Оба раза проходившие маршевые роты, и оба раза за отказ допустить к участию в выборах.

Оба раза было одно и то же, и оба раза Леванида

спасали пришпандоривающие его идеи, с одной стороны, и известное знакомство с самым механизмом пришпандоривания идеями — с другой.

Первый, и потому самый опасный, случай произошел с ротой татар. Получив решительный отказ Леванида допустить роту к участию в выборах, так как списки роты с формальной стороны были составлены совершенно неправильно, представители роты пришли в страшное волнение:

— Мусульманин на фронт, — кричали они, — мусульманин идет! Мусульманин голосовать, мусульманин не дает?!

В страшном волнении они выскочили на крыльцо халупы, и сейчас же произошел летучий митинг. Что они говорили на своем языке — неизвестно; но Леванид еще не успел осуществить своего намерения, выйти к ним и поговорить, как уже толпа разъяренных солдат решила, что единственным препятствием к выполнению их „гражданского долга“ является председатель комиссии. Отсюда грозные, яростные крики:

— На штыки его!..

Солдаты с винтовками и с примкнутыми штыками ворвались в комнату комиссии. И тут произошла сцена, отчасти сходная с так хорошо описанной у Толстого сценой избиения Верещагина в присутствии Ростопчина.

Ворвавшись в комнату, передние ряды солдат, которые естественно должны были стать исполнителями революционного решения, стали расползаться по стене комнаты. Вид неподвижно сидевших членов комиссии на них подействовал. Но задние в коридоре яростно напирали и орали:

— На штыки его, нечего разговаривать!

По счастью, дверь была маленькая и коридорчик вел к ней узкий, — комната поэтому заполнялась солдатами крайне медленно. Зато и была эта комната не слишком большая — длиной аршин семь, из которых три занимал стол и сидевшие за ним члены комиссии. По мере наполнения комнаты, грозные крики начали раздаваться уже не в коридоре, а в задних рядах солдат, набившихся в самую комнату. Передних подбадривали задние и не только криками, но и нашептыванием и подталкиванием. Движения солдат становились все импульсивнее, они начали подбадривать себя громкой руганью.

— Мать, мать, мать, мать!.. — посыпалось вдруг, как из решета.

И вот, молодой толстый татарин с удивительно белой кожей и нежнорозовым румянцем на щеках, начал выкликивать полным голосом, почти вопить:

— Мусульманин на фронт, мусульманин идет! Мусульманин голосовать, мусульманин не дает!?

— Молчать! — заорал вдруг Леванид, пришпандоренный, обожженный мыслью, что через секунду гибель — конец... — Вы что пришли, убить меня? Да? Так нате, убивайте!

Леванид широким жестом протянул солдатам заряженный наган, держа его за дуло, к солдатам ручкой.

Солдаты попятились и замолчали.

— Ну, что же? В чем дело, чего вы стесняетесь?

И опять в ответ гробовое молчание.

— А знаете ли вы, товарищи солдаты, где вы сейчас находитесь? Здесь создается впервые в России истинно народная власть, здесь происходят выборы в учредительное собрание. Как же смели вы ворваться сюда с оружием в руках и грозить мне, председателю комиссии по выборам в учредительное собрание!

— Да мы ничаго, мы так. Нам только бы объясниться,— забормотали смущенно солдаты.

— Что-о-о-о? — заревел Леванид, поняв, что победил. — Объясняться всей ротой, с винтовками в руках, с площадной бранью...

— Вон отсюда, мать, мать, мать, мать! — снова заревел Леванид вдруг, стуча ручкой нагана по столу, потеряв от бешенства всякое самообладание.

Солдаты растерялись, молча стали пятиться и уходить, и когда они ушли, Леванид сел и увидел бледные лица своих товарищей по президиуму. Товарищи смотрели на Леванида с восхищением.

— Придется закрыть на сегодня комиссию, эти фокусы даются недаром, надо отдохнуть.

XLIV

ДОМОЙ И „ДОМА“

Выборы кончены. Делопроизводство комиссии опечатано и отослано в следующую проверочную инстанцию. Уже вторая половина ноября.

Леванид видит, что армия умерла. Неразбериха кругом невообразимая. Солдаты стремятся узнать правду о большевиках, об их намерениях. Командование и комитеты по мере сил и возможности этому мешают, но управлять солдатами они уже не могут.

Леванид спешит использовать свои отпускные документы и вместе с несколькими другими офицерами уезжает из полка.

„Так крысы бегут с тонущего корабля, думает Леванид.—Но ведь и команда покидает судно, если ясно, что оно неизбежно погибнет". Оставаться в армии для сохранения армии — бессмыслица явная, армия уже умерла; а для чего же еще сидеть в этой толпе оголтелых и враждебно настроенных по отношению к офицерам людей?

Леванид едет и всю дорогу изо всех сил бьется за места в поезде. Энергии у него хоть отбавляй и он невероятно быстро приезжает в Москву. Расстояние Сатанув — Москва Леванид покрывает в четверо суток, из них двое с половиной суток — скорый поезд Киев — Москва. Для конца 1917 года это рекордная скорость. Перегон Киев — Москва Леванид едет в четырехместном купе первого класса, на красном бархате. Но в купе едут с вещами одиннадцать офицеров и один, Леванидов, денщик. Проход между лавками заложили вещами, устроили нары. Спать приходилось поперек нижних лавок, на верхних по два человека. Вход и выход через окно. Для облегчения в окно выбрасывали веревочное стремя, за которое подтягивали. Дверь в коридор закрыта, он занят солдатами, они не дают ее открывать.

Но вот наконец Москва.

Леванид приехал в Москву в трех парах погон и при оружии. Он сохранил эти высокоценные украшения: как бы то ни было, а он приехал домой живым и здоровым.

Дома.

Да полно, дома ли? Леванид почти не узнает родных. Те, да не те. Нервно он издерган до крайности. Последнее столкновение с вооруженной толпой солдат во время выборов в учредительное собрание потрясли его до основания. Ему хочется замолчать, отдохнуть, разобраться в сумбуре, творящемся вокруг и в нем самом.

За или против большевиков?

Всем своим существом Леванид им сочувствует, их ненависть к попам и религии удовлетворяет его в высшей

степени. Но их травля всех его близких, их классовая противоположность останавливает его. Сиди и жди.

А кругом отношение к большевикам определилось. „Ущемленные“ саботируют, отказываются от советской службы. Ненависть и ненависть не за страх, а за совесть.

Окружающие требуют от Леванида присоединения к их точке зрения, а Леванид этого сделать не может.

Дома это вызывает бурю возмущения. Леванид предлагает не говорить на политические темы, но разве в конце 1917 года это возможно. Леванид пробует принять на себя роль оракула и, дав ответ, уклониться от его обсуждения. Но и это не удается.

С ним спорят, а на самом деле попросту требуют немедленного присоединения к установившейся в семье чисто обывательской точке зрения. Главное, Леваниду не дают отдохнуть.

Дело кончается крупным скандалом:

— Зачем возражаете? — кричит Леванид, стуча кулаками по столу. — Вам интересно мое мнение — вот оно, сколько раз просил не возражать и не спорить. Я с вами все равно не согласен и сам никогда не спорю. Не видите разве, что и сам я ничего не понимаю, что я устал, что я хочу отдохнуть.

Он убегает в свою комнату и почти две недели сидит в ней. Отдыхает от людей.

Но кругом живут живые люди. То-и-дело в комнату Леванида, как офицера, являются, врываются вооруженные отряды и обыскивают. Леванид пробует с ними беседовать, но ничего из этого не выходит. Обыски лишь увеличивают нервозность.

Но несмотря на обыски, в доме существует Калединская станция. На нее ежедневно пестрым карнавалом являются ряженые офицеры. Из-под солдатских папах глядят чисто выбритые и надушенные гвардейские лица. Из-под солдатских простых полушубков торчат шикарные галифе тонкого сукна и отлично вычищенные хромовые сапоги со шпорами.

Боевые товарищи Леванида, те что в Москве, один за другим едут на юг. Зовут и его.

Но после всего пережитого Леванид не может и не хочет воевать против восставшей за свои человеческие права „серой скотинки“. Успех белых ему несимпатичен, да и не верит он в их успех.

Леванид делает отчаянную попытку — пробует самоопределиться направо. Начинает писать статью: „Так было, так будет".

„Ничто не изменилось, — пишет он, — тюрьма осталась тюрьмой, произвол — произволом, насилие — насилием. Только виселица заменена расстрелом..." а сам чувствует что все написанное — ложь, фальшиво до основания.

Из этого самоопределения направо и на этот раз у Леванида ничего не вышло, как не выходило много раз и впоследствии.

Не знал Леванид тогда, что с ним случилось то, что случилось одновременно с десятками, сотнями молодых интеллигентов и что описано пока, главным образом, во французской послевоенной литературе. Заглянув в лицо войны, непосредственно приняв в ней живое участие в качестве рядовых бойцов, молодые интеллигенты Запада, так же как и Леванид, навсегда потеряли вкус к либеральной болтовне, к пустому треску слов о правах человека, о свободе, равенстве и братстве. У Леванида, как у всех у них, появился интерес к конкретным способам прекращения наличных социальных и экономических безобразий.

А кругом Леванида живут люди, не пережившие и даже не представлявшие размера нравственного потрясения, пережитого Леванидом. Для них громкие либеральные фразы и были всегда и остались, тоже, повидимому, навсегда, самым милым, самым дорогим.

Непонимание воцарилось полнейшее.

В то время Леванид не был знаком с французской послевоенной литературой. Он переживал все это как свою личную катастрофу, и катастрофа эта заставила его бежать из дома. Куда — не все ли равно.

Раз как-то увидел Леванид на стене в магазине Экономического общества офицеров объявление:

> „Московская биржевая артель ответственных служащих, по договору с Моссоветом, приглашает бывших офицеров на службу в Архангельск в качестве ночных сторожей для охраны складов военного имущества".

Леванид зашел, поговорил и, не говоря никому ни слова, подписал конктракт.

И 2 января 1918 года уехал.

XLV

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все, о чем рассказано в этой книжке — правда. Леванид живое лицо. Без прикрас с его слов она и составлена.

И вот теперь, Леванид боится, что досужие критики обвинят его в эгоцентризме, в преувеличении своей роли, в хвастовстве.

Жаль одно, критики очернят перед читателем человеческий документ, имеющий совершенно определенную ценность. С этой стороны, со стороны качества рукописи, как человеческого документа, все недостатки ее являются ее достоинствами.

При чтении бросается в глаза полное отсутствие сцен полковой жизни без активного участия Леванида. Для гладкости рассказа такие сцены можно было бы вставить, а их нет. Их здесь не может быть, они будут фальшью.

Слишком велико было напряжение всех душевных сил молодого человека, почти мальчика — ведь Леваниду было двадцать один год только.

Это напряжение позволяло преодолевать огромные препятствия, но заставляло воспринимать действительность, как в кривом зеркале. Между задачами, которые жизнь ставила на разрешение перед Леванидом, и его реагирующими нервными центрами не было необходимой изоляции, каковой является жизненный опыт.

Леванид брался сильной, но еще очень молодой рукой, за решение поистине непомерных задач: сместить начдива, спасти от солдат полковника, уговорить полк пойти в бой — и решал их, но решая их, вследствие отсутствия жизненной закаленности, калечил свою душу.

И это сказывается на воспоминаниях, на их преломленности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
I. Начало	15
II. Запасный полк в прифронтовой полосе	16
III. Боевой фронт. Штаб 293-го пехотного Ижорского полка	18
IV. Первая весть о революции	19
V. Начало революционного раскачивания в полку	21
VI. Офицерское собрание	22
VII. Первые трудности	25
VIII. О начальнике дивизии	26
IX. Леванид пробует успокоить полк	27
X. Леванид беседует с начальником дивизии	28
XI. Леванид смещает начальника дивизии	33
XII. Второй начальник дивизии	36
XIII. Армейский съезд	37
XIV. Фронтовый съезд	39
XV. Керенский	43
XVI. Последний день съезда	47
XVII. Возвращение в полк	48
XVIII. В лесу	49
XIX. Леванид поздравляет полк с наступлением	51
XX. Приготовление к бою	53
XXI. О праве на жизнь свою и чужую	54
XXII. Канун боя. О религии	56
XXIII. Канун боя. Опять начдив и Савинков	58
XXIV. Канун боя. Отказ 1-го батальона от участия в бою	60
XXV. Канун боя. „Уговорил“	63
XXVI. Канун боя. Ночь и рассвет	70
XXVII. Бой 18 июня. Утро	72
XXVIII. Бой 18 июня. Начало атаки	74
XXIX. Бой 18 июня. Первый немец	77
XXX. Бой 18 июня. Штыковой бой	—
XXXI. Бой 18 июня. Бой за укрепленную полосу	80
XXXII. Бой 18 июня. Отрезвление от боя	83
XXXIII. Бой 18 июня. Леванид пробирается к перевязочному пункту	86
XXXIV. Бой 18 июня. Последнее усилие	89
XXXV. Эвакуация	94

Стр.

XXXVI. Москва 99
XXXVII. Снова в полку 101
XXXVIII. Леванид командует ротой 102
XXXIX. Леванид и солдаты осенью 1917 года 103
XL. В резерве 105
XLI. Тарнопольский прорыв 108
XLII. Рота Леванида бунтует 114
XLIII. Выборы в учредительное собрание 119
XLIV. Домой и „дома“ 122
XLV. Необходимое послесловие 126

48486 (65)